Н.С. ЛЕСКОВ

FB2: MCat78 “MCat78 ” <MCat78@ya.ru >, 12 December 2008, version 2.0
UUID: 1144a92e-195d-102c-96f3-af3a14b75ca4
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Семёнович Лесков

Полунощники

Содержание

I 0005
II 0020
III 0028
IV 0045
V 0056
VI 0080
VII 0107
VIII 0123
IX 0138
X 0143
XI 0152
XII 0166
XIII 0171
XIV 0180
XV 0195
XVI 0199

Николай Лесков
Полунощники
Пейзаж и жанр

Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня.
Пушкин

I

...Я был грустно настроен и очень скучал. Уехать из города на лето было еще рано, и мне посоветовали сделать непродолжительную прогулку с целью увидеть новые, непримелькавшиеся лица. Я сдался на убеждения моих друзей и поехал. Я не знал никаких порядков города, куда держал путь, ни нравов людей, с которыми мне там придется встретиться, но фортуна начала благоприятствовать мне с первого шага. На первых же порах во время путешествия я нашел услужливых и опытных людей, которые делали это путешествие уже не первый раз, и они научили меня, где надо пристать и как себя пристойнее держать. Я все принял к сведению и остановился там, где останавливаются все, кого влечет сюда призванье. Учреждение это не отель и не гостиница, а оно совершенно частный дом, приспособленный сообразно вкусу и надобностям здешних посетителей, и называется он – «Ажидация».

Мне досталась маленькая комната. Выбирать помещений здесь не принято, а равно не

принято и претендовать на их относительные неудобства. Это все человек узнаёт еще во время короткого переезда. Всякий помещается здесь на том месте, какое ему отведут; а чту кому надо отвести – это сразу определяет проницательное око очень бойкой женщины, которую называют «риндательша»; если же нет на месте самой «риндательши», тогда сортировкою посетителей занимается состоящая при ней подручная ключница. Обе они, по-видимому, благородного происхождения, или по крайней мере это дамы, которые достаточно видели свет и имеют о нем надлежащее понятие. Нынешний солидный возраст обеих дам, кажется, должен бы хранить их от всякого злоязычия, а здравый смысл и благочестие начертаны на их лицах, хотя, впрочем, довольно различными пошибами. Лик «риндательши» ударяет в сухой, византийский стиль, а ключница с дугообразными бровями принадлежит итальянской школе. Обе эти женщины, несомненно, умны и относятся к разряду тех, о которых сказано: «Их же не оплетеши». Друг другу они улыбались как друзья, но в глазах их, казалось, светились ка-

кие-то иные чувства, совсем не схожие с искренней дружбой. Наблюдательный человек мог подумать, что этих женщин связывает как будто какое-то взаимное опасение.

В их необыкновенном доме господствует система: как к ним «привалит» публика, или, как ее называют, – «толпучка», дамы встречают гостей и тотчас же их сортируют; знакомых лиц они прямо размещают по известным комнатам, а незнакомых подвергают предусмотрительному разбору, после чего каждый ожидатель получит в «Ажидации» такое помещение, какого он заслуживает..[1]

Для этого прежде всего ожидателей сначала «собьют в угол к владычице». Здесь «в ажидации» немножко помолятся перед большим образом, а их в это время расценят и рассортируют.

Довольно большой дом в два этажа составляет одно помещение – «для ожидающих». Дело, очевидно, ведется очень просто, но основательно: в особе ключницы сосредоточена большая экономическая сила и исполнительная полицейская власть.

Сила нравственная и политическая на-

ходится в руках самой «риндательши». Остальной домашний штат «Ажидации» состоит из услуживающих лиц женского пола, которые находятся почти в постоянных побегушках. Кроме того, есть «куфарка». Весь этот подбор принадлежит к служебным типам самого низшего сорта. Впрочем, у «куфарки» есть драповая тальма, в которой она, должно быть, служила еще «генералу», – теперь она ее соблюдает больше для важности и показывается в ней публике, или «толпучке».

Мужчин усматривается двое: один стоит при дверях в нижнем этаже, а другой сидит у окна в конце коридора, за шкафиком.

Первый производит впечатление придурковатого простачка; второй – бойкий жох из отставных военных.

Размещение в «Ажидации» отлично приноровлено к ожидательской цели. В обоих этажах вдоль всего здания идет посредине коридор, а по сторонам – стойлицы.

Это «номера для ожидателей». Здесь не называют: «приезжающие» или «прибывающие», а *«ожидающие»*. Это солиднее и соот-

ветственнее.

Коридоры наверху и внизу просторны и светлы. В конце каждого из них по окну. Коридор нижнего этажа содержится в посредственной чистоте. Особенной чистоты нет, – ее здесь и не убережешь, потому что сюда входят прямо с надворья и тут же раздеваются и обтирают обувь. Тут же и печурка, где ставят самовары, и ход в кухню, откуда пахнет грибным и рыбным. На одной из стен большой образ владычицы и рядом поменьше образ, перед ним лампада, аналой и на полу вытертый коврик, а напротив деревянная скамья со спинкой, из так называемых твердых диванов.

В разных местах фотографические и печатные портреты; одного и того же духовного лица.

С прихода все ожидатели идут к владычице и молятся, или, как говорят, «припадают». Затем всех разводят в их номера.

Знакомые имеют номера излюбленные, которые как бы всегда состоят за ними. Из них некоторые даже и не «припадают» в коридоре, а, поздоровавшись с хозяйками, пря-

мо проходят в «свои номера». Им только говорят:

– Пожалуйте.

Других, «которые первенькие, но почище», водворяют по усмотрению в свободных номерах первого и второго этажа.

Это – аристократия необыкновенного дома.

Они получают распределение скоро. Им нет нужды ждать, пока разместят всех остальных. Прочих ключница берет и ведет в общую.

У одного из окон нижнего коридора, за маленьким желтым шкафиком, помещается отставной военный с очень серьезным выражением. Возле него на табуретике сидит ребенок, мальчик лет девяти, имеющий в чертах большое сходство с военным. Перед мальчиком куча вскрытых конвертов, с которых он смачивает слюнями марки и переклеивает их в тетрадь. Делает он это скоро и ловко и с замечательною, недетскою, серьезностью, которою, по-видимому, очень заинтересована стоящая возле него кухарка в драповой тальме.

Она долго на него смотрит, и, наконец, вздыхает и говорит:

– Прелесть как ловко, – лапочки будто у мышоночка – так и виляют!

Отец этого прилежного отрока, очевидно, имеет здесь довольно серьезное значение и сидит прочно на дебелом стуле, под которым постлан мягкий коврик. Военный просматривает какие-то. записки и что-то выкладывает на маленьких счетах, но это его не вполне поглощает: он все видит и слышит; мимо него никто не пройдет, чтобы он не увидел и не повел на него глазом и усами.

Шкафик у него покрыт черною, запачканною клеенкою, на которой стоит чернильница с гусиным пером и лежат нарезанные листки бумаги.

В середине в шкафе есть чистые поминальные книжки, лампадное масло, восковые свечи и ладан, а также какие-то брошюрки и фотографические портреты меньшего и большего размера.

Воин этот – человек солидного века и несомненно очень твердого характера.

Прислуга дала ему прозвание «балык».

Номера нижнего этажа «Ажидации» все немножечко с грязцой и с кисловатым запахом, который как будто привезен сюда из разных мест крепко запеченным в пирогах с горохом. Все «комнатки», кроме двух, имеют по одному окну с худенькими занавесками, расщипанными дырками посередине на тех местах, где их удобно можно сколоть булавками. Меблировка скудная, но, однако, в каждом стойлице есть кровать, вешалка для платья, столик и стулья. В двух больших комнатах, имеющих по два окна, стоит по скверному клеенчатому дивану. Одна из этих комнат называется «общею», потому что в ней пристают такие из ожидателей, которые не желают или не могут брать для себя отдельного номера. Во всех комнатах есть образа и портретики; в общей комнате образ значительно большего размера, чем в отдельных номерах, и перед ним теплится «неугасимая». Другая неугасимая горит перед владычицей в коридоре.

Перед образами в номерах тоже есть лампады, которые, впрочем, зажигаются при вхо-

де сюда ожидателей, и притом, без сомнения, на их счет, так как здесь же есть кружка «на масло». Лампады возжигает воин, имеющий свой торговый пост у шкафика.

Некоторые из ожидателей не довольствуются огнем лампад и еще прилепливают перед номерными образами восковые свечки. Это им дозволяется и даже поощряется, но не иначе, как тогда, когда сами ожидатели находятся в комнате и не спят. При выходе же из комнаты или при отходе ко сну они обязаны гасить свечи, но лампады у них могут гореть во всю ночь.

Бывают случаи, что некоторые, помолившись и легши в постель, оставляют прилепленные свечи «догорать», но «риндательша» или ее помощница непременно это замечают и сейчас же постучат рукой в двери, и попросят погасить.

Наблюдают они за этим тщательно, и укрыться от них никому невозможно.

В верхнем этаже «Ажидации» все чище и лучше. Коридор так же широк, как и внизу, но несравненно светлее. Он имеет приятный

и даже веселый вид и служит местом бесед и прогулок. В окнах, которыми заканчивается коридор по одну и по другую сторону, стоят купеческие цветы: герань, бальзамины, волкамерия, красный лопушок и мольное дерево, доказывающее здесь свое бессилие против огромного изобилия моли. На одном окне цветы стоят прямо на подоконнике, а у другого окна – на дешевой черной камышовой жардиньерке. Вверху под занавесками – клетки с птичками, из которых одна канарейка, а другая – чижик. Птички порхают, стучат о жердочки носиками и перекликаются, а чижик даже поет. Торговых приспособлений здесь никаких не видно. Напротив, тут все имеет претензию казаться чинно и благородно. На стене, приблизительно в таком же расстоянии, как и в нижнем коридоре, помещается другой владычный образ, тоже большого размера и в беленом окладе с золоченым венцом. Он в раме за стеклом с отводинами, освещен лампадою в три огня, и перед ним разостлан на полу совершенно свежий коврик с розовыми букетами и стоит аналой, а на нем крест и книга. Книга и крест завернуты в епи-

трахиль на зеленой подкладке.

Пол коридора крашеный и блестит. Он, очевидно, вымыт с мылом и натирается воском. Вдоль всего коридора довольно широкая джутовая «дорожка» с цветною каемкою.

Вдоль стен против образа поставлено одно кресло и несколько легких венских стульев с тростниковыми плетенками. В углах плевательницы.

Комнаты верхних номеров все гораздо лучше омеблированы, чем внизу. Здесь, кроме кроватей и стульев, есть комодики и умывальники. Некоторые комнаты переделены ситцевыми драпировками надвое: одна половина образует спальню, другая – что-то вроде гостиной. Тут на комоде туалетное зеркальце, и в углу образ, перед которым тоже можно зажигать лампаду или, по желанию, свечку.

Свечки, однако, больше зажигают «серые ожидальщики», которые, собственно, составляют «толпучку» и имеют остановку в нижних номерах, а «верхняя публика» почти всегда ограничивается одними лампадами.

Кислого запаха гороховой начинки здесь не слышно, и только внутри комодных ящи-

ков пахнет прогорклою конторскою икрою и семгой, от которых и остались в изобилии жирные пятна.

Наверху, так же как и внизу, есть тоже общая комната, помещающаяся рядом с собственным покоем «риндательши». Эта комната имеет, впрочем, вид гостиной. Она уставлена мягкою мебелью и имеет большую образницу, в которой много образов, а перед ними опять ковер и аналой с крестом и с книгою в епитрахили. Лампада горит «общая», и огонь ее красиво дробится в широком стакане из мелко ограненного алмазной гранью хрусталя. Возле образника укреплена и припечатана зеленая кружка для доброхотных вкладов.

В комнате этой ночуют только в таких случаях, если число ожидателей бывает больше, чем сколько есть номеров. Тогда здесь помещают «залишних ожидателей» одного пола или какое-нибудь целое семейство; в остальное же время комната эта считается «беседною» и открыта для всех прибывающих в дом ожидателей.

После ранней обедни здесь ежедневно служат молебен, за которым все могут молиться

и подавать свои поминанья и записки. Те же, которые, кроме общего моленья, желают так устроить, чтобы еще отдельно за себя помолиться в своем номере, должны заявлять о своем желании особо. Ходатайство об этом надо вести через «риндательшу». Ключница за это не берется. Непосредственные же просьбы об этом часто не доходят.

Свечи, масло и все прочее, что нужно к служению, требуется наверх снизу, и заведующий этим хозяйством воин подает все это в молчании и с торжественной серьезностью.

Главный надзор за учреждением принадлежит самой «риндательше», которая, как сказано, живет тут же, на верхнем коридоре, в маленькой комнате, рядом с «беседным» покоем, а внизу правит делом помогающая ей ключница, которая присматривает тоже за кухонной частью и за свечным унтер-офицером.

Обязанности у обеих дам разделены. «Риндательша», как собственница учреждения, избрала себе часть более умственную: она держит кормило корабля. Ей одной известна ее

касса и те средства, которые приходят в нее ей одной открытыми путями. Она дает надлежащий тон всему своему заведению и владеет возможностью доставлять особые душевные утешения тем, кто их разумно ищет при ее посредстве.

Ее часть, так сказать, генеральная, а часть ключницы, помещающейся внизу, более обозная, узко хозяйственная, полная мелочных хлопот и отчасти даже неприятностей, потому что она имеет дело с прислугою, избранною из людей самого низшего качества, и с ожидателями из того слоя общества, который называется «серостью». «Серость», выражаемая не одним званием и относительною бедностью, имеет также очень грубые навыки и не всегда отличается честностью в расчете. «Риндательша» удаляется от всяких неприятных столкновений в денежном роде и слывет «доброю», но, по словам прислуги, она «большая скрытница» и «ужасно» требует от ключницы охранения всех своих выгод и интересов. Ключница должна прибегать к разным приемам, чтобы все было заплачено.

«Сила вся в их руках», – говорит общий го-

лос.

II

Я прибыл к ним без всякой протекции. Я мог бы получить рекомендации, но это не входило в мои скромные и беспритязательные планы. Я искал облегчения от тоски и томленья духа и явился просто в чине ожидателя. Как человек средний, я был помещен по непосредственному усмотрению дам в маленькой комнате верхнего этажа.

Не зная, как здесь лучше вести себя, я присматривался во всем к другим и старался делать то, что делают опытные люди. Только таким образом я и мог попасть в господствующий тон приютившего меня учреждения, что было необходимо. Я не хотел обнаруживать никакого диссонанса в чувствах и настроении группы необыкновенных людей, по лицам которых было видно, что все они прибыли сюда с очень большими и смелыми надеждами и хотят во что бы то ни стало получить, чту кому нужно. Я «припадал» с ними везде, где они припадали, и держался сколь можно ближе всех их обычаев, и скоро ощутил, что это невыразимо тяжело и неописуемо скучно.

Притом мне казалось, что здесь все особенно друг друга остерегаются и боятся и что, я приехал, очевидно, напрасно, потому что пребывание здесь не может мне представить ничего интересного.

Я ошибался.

Вечером я погулял немножко в одиночестве по городу, и это произвело на меня еще более удручающее впечатление: изобилие портерных и кабаков, группы солдат, испитые тени какой-то бродяжной рвани и множество снующих по тротуарам женщин известной жалкой профессии.

Я должен бы помнить, что благодать преобладает там, где преизбыточествует грех, но я это забыл и возвратился домой подавленный и с окончательно расстроенными нервами; я наскоро напился чаю в «беседной» и потом вышел постоять на крыльцо, но, кажется, потревожил кухарку в тальме. Она разговаривала с какою-то военною особою и все повторяла: «Ну так что!.. А мне хоть бы чттшеньки». Чтобы не сердить ее, я ушел в свой номер с решительным намерением уснуть как можно крепче до утра, а завтра встать пораньше

и уехать восвояси утром же, ничего не дожидаясь.

Усталость и скука сильно клонили меня к изголовью довольно сносной постели, которую я, впрочем, на всякий случай посыпал порядком порошком персидской ромашки.

Намерение хорошо спать, однако, не удалось. Сначала мне все страшно казалось: нет ли в кровати клопов, с которыми я в моей кочевой жизни имел много неприятных столкновений на русских ночлегах, а потом стало лезть в голову желание определить себе: в какую это я попал компанию, что это за люди – больше дурные или больше хорошие, больше умные или больше глупые, простаки или надувалы? И никак я этого не мог разобрать и не знал, как их назвать и к какой отнести категории. А меж тем сон развеялся, и мне вместо отдыха угрожала раздражающая тоска бессонной ночи. Но, по счастию, едва все стихло в коридорах, как по обе стороны моей комнаты пошли ночные звуки. У меня оказалось разговорчивое соседство, на которое я сначала сердился, а потом увлекся и начал

слушать.

Справа пришлись у меня соседи только досадительные и даже, кажется, не совсем с чистою совестью. По говору слышно было, что тут, должно быть, помещены какой-то старичок со своею старушкою. Они всё что-то перекладывали и бурчали, причем старик употреблял букву *ш* вместо *с* и *ж* вместо *з*, а также он употреблял что-то и из «штакана» и называл это «анкор». У них, очевидно, было какое-то беспокойное домашнее обстоятельство, которое они приехали уладить и кому-то угрожать, но при этом они и сами ощущали какой-то большой страх за себя. Впрочем, больше беспокоилась одна старуха, которая была, очевидно, довольно трусливого десятка, а старик был отважен.

– Ничего, мама, – говорит он старушке, – ничего, «не робей, воробей». Это штарая наша кавкажская поговорка. Ты увидишь, что он нам дашт – непременно дашт... плохо-плохо, что четвертную дашт. Меньше ехать не штоило.

– Хорошо, если даст!

– Дашт, нельзя, чтобы не дал, я уж шамую

жадобрил, и ключницу тоже. Шама-то вше поняла, как я могу ей и вред и польжу шделать, – могу штаратьша вшё ужнавать, и она будет жа наш штаратьша.

– Очень ты ей нужен!

– Нет, мамка, нужен. Ей надо жнать, кто ш какими мышлями приежжает, а я, жнаешь… я вше што ешть в человеке – вше это могу ужнать и шкажать. Я буду чашто шуда публику шопровождать и шо вшеми ражговаривать и от каждого его прошлую жижть ужнавать, а они потом будут их этим удивлять, что вшё жнают. Я им хорошо придумал. Я надобный! Ну, давай же анкор!

– А ты теперь как ей сказался?

– Как? Как мы ш тобой решили, так я и шкажался: иж благородных, кавкажшкой армии, брошены – непочтительный шын – шкажок начиталша… Ну, давай анкор!

– Что он богу не молится, ты это сказал?

– Да, шкажал: шкажал, что и богу не молитша и что шлужить не жахотел, а шапоги шьет… и у жидов швечки пошле шабаша убирает. Я вше шкажал, и дай мне жа это шомужки и анкор!

А старушка отвечала:

– Семужки на, а анкор не надо.

– Отчего же не надо? Я именно хочу анкор.

– Так, нельзя анкор.

– Что жа так! что жа нельжа!.. Налей, налей мне, мама, штаканчик! Я умно, хорошо вждумал, – мы теперь уштроимша.

Она налила, а он выпил и крякнул.

– Тише! – остерегла его старушка.

– Чего ты вше так боишьша?

– Всего боюсь.

– Не бойша, вше пуштаки... ничего не бойша.

– Скандал может выйти.

– Какой шкандал? Отчего?

– Еще спрашивает: отчего? будто не знает.

– Да, не жнаю.

– Ведь мы с чужою рекомендациею приехали.

– Да, ну, так што ж такое?

– Те, соседние жильцы, ее теперь небось ведь хватились – своей рекомендации-то.

– Может быть, и хватилишь...

– Ну, они сюда и придерут.

– Ан не придерут.

– Почему?

– Дай анкор, тогда шкажу – почему. – Пьяница!

– Шовшем нет, а я умный человек. Дай анкор.

– Отчего же жильцы не могут приехать?

– Налей анкор, так шкажу.

Она налила, а он выпил и сказал, что подал вчера «подозрение» на каких-то своих соседних жильцов, у которых этими супругами, надо думать, была похищена какая-то блистательная рекомендация.

Старушка промолчала: очевидно, средство это показалось ей годным и находчивым.

Через минуту она спросила его: советовался ли он с кем-то насчет какого-то придуманного сновидения и что ему сказали?

Старичок отвечал, что советовался, и тотчас же понизил голос и добавил:

– Она меня отлично научила, как про шон говорить.

– А как?

– Шмотреть на него, как он шлушает, и ешли он вожмет шебе руку в бок, то тогда шейчаш перештать и больше не шкаживать.

Ешли вжал руки в бок по-офицершки – жначит шердитша. А что ж ты мне анкор? Ведь я беж того не ушну.

Я закрыл голову подушкой и пролежал так минут двадцать. Стало душно. Я опять раскрыл голову и прислушался. Разговор не то продолжается, не то кончен, и старички даже, кажется, спят. Так и есть: слышны два сонные дыхания: одно как будто задорится вырабатывать «анкор», а другое пускает в ответ тоненькое «плипли».

– Encore![2]

– Пли-пли…

Травят кого-то или даже, может быть, казнят – расстреливают, что ли, кого-то во сне.

Будь наше место свято!

Я тихо встал с постели и поскорее завесил своим пледом дверь, из-за которой до слуха моего дополэала эта затея.

Жадный тарантул и его ехидна, обнявшиеся на супружеском ложе, для меня исчезли.

III

Зато, чуть стихла эта сцена справа, совсем другая начала обнаруживаться за стеною слева.

Говорили две дамы; одна, младшая, называла старшую: Марья Мартыновна; а другая, старшая, звала эту: Аичка. (По купечеству в Москве «Аичка» делают в ласкательной форме из имени *Раиса).* Они говорили тихо и так мирно и обстоятельно, что я сразу мог понять даже, как они теперь размещены в своей комнате и как друг к другу относятся.

Старшая, то есть Марья Мартыновна, вкрадчивым, медовым голосом говорила младшей, Аичке:

– Вот мой ангел, я и рада, что вы у меня улеглись на покой в постельку. Эта комнатка своей чистотой здесь из всех выдающаяся, и постелька мякенькая. И вы понежьтесь, моя милочка. Вы должны хорошенько отдохнуть, иначе вам немыслимо. Вставать вам ни за чем не нужно. Я ваши глазурные очи при лампадочке прекрасно вижу, и чтт только вы подумаете – я сейчас замечу и все вам подам

на постельку.

– Нет, я сама встану и лампад закрою, – отвечала Аичка молодым голосом с московской оттяжкой.

– Ан вот же и не встанете, – вот я лампад уж книжкой и загородила.

– Да уж вы известная – пожилая, да скорая.

– Да, я и не могу иначе: у меня ведь игла ходит в теле.

– Какая игла в теле?

– Самая тонкая, одиннадцатый нумер.

– Зачем же она вам в тело попала?

– По моей скорости: шила и в ладонь ее воткнула – она и ушла в тело. Лекаря ловили, да не поймали. Сказали: «Сама выйдет», а она уж тридцать лет во мне по всем местам ходит, а вон не выходит… Вот теперь вашим глазурным очам не больно, и я покойна и буду здесь же у ваших ножек сидеть и потихоньку вас гладить, а сама буду что-нибудь вам рассказывать.

– Нет, не надо меня гладить, я это не люблю! Садитесь в кресло и из кресла мне что-нибудь рассказывайте, – отвечала Аичка.

– А я непременно здесь хочу! Это мое самое

любимое – услужить милой даме, в чем приятно, и у ее ножек посидеть и помечтать с ней о каких-нибудь разностях! Вспоминается, как еще, бывало, сами мы молоденькими девушками, до невестинья, всё так-то по ночам друг с другом шу-шу про все свои тайности по секрету шушукались, и так, бывало, расшалимся, что и заснем вместе, обнявшись.

– А по-моему, женщине с женщиной обнявшись ласкаться никакой и особенной радости нет, даже и мечтать не о чем.

– Ласки, мой ангел, сами и мечты привлекут, и которые дружные, те для того, уединясь, и мечтают. Разумеется, не со всякой такая дружба возможна, но если у которой есть настоящий друг, выдающийся, то «сколько счастья, сколько муки»!.. Это испытать и не позабыть!

– Ничего не понимаю.

– Удивляюсь! Но я понимаю: у меня в девушках был такой заковычный друг, Шура. Ах, какая была прелесть приятненькая, и зато уж мы любили друг друга! Мамаша, бывало, сердится и говорит: «Не расточайте вы, дурочки, попусту свои невинные нежности – му-

жьям ласки оставьте». А мы и замуж не хотели, да и что еще ждет замужем-то! Я только и свету видела, что до замужества, а уж как двум Пентефриям в жертву досталась, так и не обрадовалась.

– Как же вы это двум достались? Это интересно.

– Одного закопала, а за другого вышла.

– Ах... так!.. Вы за одного после другого вышли!

– Да, а то как же?

– Вы сказали, что «двум досталась».

– А уж ты подумала, что я вместе была за двумя разом!

Марья Мартыновна рассмеялась дробным горошком и весело проговорила:

– Ах ты, шалуша, шалуша! Ты думала, что у меня один муж был праздничный, а другой для будни?

– Да ведь это ж тоже бывает.

– Бывает, мой друг, бывает. В нынешнем свете чего не бывает, но со мной не было.

– Иные ведь обманывают: женатый, да скроет про первую жену, и еще раз женится. Ему за это достанется, а второй женщине ни-

чего.

– Да, если она отведет от себя, что не знала, то тогда ей особенно выдающегося наказания нет, но только все-таки в суде ее защитники-то процыганят, и прокурор о постыдных вещах расспрашивать будет.

– А какая беда, что спрашивают? через это женщина-то, когда о себе расскажет, так после еще всем интереснее делается; да и с тем же, с кем разведут, после опять жить можно.

– Да, но только уж придется жить все равно как невенчанные.

– Извините-с, настоящий развод пред престолом нынче не делают, в церкви венцов не снимают, а только и всего, что в суде прочитают.

– А все уж по отдельному виду надо прописываться.

– Это не важность!

– Да; по полицейским правилам это все равно, но прислуга меньше уважает.

– Платите больше, и отлично уважать будет.

– Всё – как при законе – так жить нельзя.

– А при капитале как хочешь жить можно,

так это еще и лучше.

– Разумеется, при твоем капитале, как выдающемся, и ты молодая вдова, в двадцать четыре года, так тебе все пути не заказаны, делай что хочешь. И я тебе совет дам: не губи время и делай.

– Советуете?

– От всей моей души советую. Век молодой надо чем помянуть: тоже ведь за стариком-то ты пять лет промучилась – это не шутка.

– Не вспоминайте мне про него!

– Прости, милуша, прости! Я не знала, что ты про покойников вспоминать боишься.

– Я его не боюсь, а… мне противно вспомнить, как он храпел ночью.

– Да, уж, мужчина, который если храпит, – это немыслъмая гадость.

– Я, бывало, целые ночи не сплю, заверну голову одеялом и сижу в постели, да и плачу. А теперь если приснится, как он храпел, сразу весь сон и пропадет.

– Да, кто храпит, им и не стоит жениться, тем больше что это при твоей молодости и при капитале, да еще и при выдающейся красоте…

– Ну, вы мне про мою красоту много не льстите, – я ведь сама себя в зеркало видывала… Разумеется, я так себе – не урод, но аляповата.

– А чем же вы нехороши?

– Не о том, что нехороша, а я не люблю, если ко мне с лестью подъезжают. Это ведь не ко мне, а всё к капиталу.

– Ну, мой друг, я ведь у вас сколько живу, а вы мне про свой капитал до сих пор никогда ничего не объясняли.

– И не обязана. Я и никому никогда о капитале ничего не скажу. Капитал – дело скрытное.

– Я и знать не стараюсь. Я взялась быть при вас компанионкою и по хозяйству – в том и состою, и что вы хотите, я то и делаю: в сад – так провожаю в сад, в театр – так в театр, а сюда захотели ехать – я и здесь пригодна, потому что я и здешние порядки знаю; а о чем ваше сердечное прошение и желание совершения завтрашней успешной молитвы – этого я не знаю.

– И тоже и это вы никогда не узнаете. О чем я хочу молить – это мое одно дело.

– Да я и не любопытствую.

– Конечно! И если не будете любопытничать, то вам же спокойней у меня жить будет. А вы мои мечты оставьте – лучше что-нибудь про себя мне рассказывайте.

– Что же, мой ангел?

– Что-нибудь «выдающееся».

– Ишь, шалуша, как мое слово охватила!

– Да, я люблю, как вы рассказываете.

– Нравится?

– Не то что нравится, а как-то… так, бывало, у нас в доме одна монахиня про Гришку Отрепьева рассказывала… сейчас смешно и сейчас жалостно.

– Да, я говорю грамматически. Это многие находили. Николай Иванович Степенев, деверь вдовы, который всеми их делами управляет, когда, бывало, болен после гуляньев, всегда, бывало, просит меня, чтобы с ним быть и разговаривать.

– А у него не было ли чего другого на уме-то?

– Ничего, мой друг, кроме того, что шутит над собою и надо мною: «Я, говорит, муж выпевающий, а ты – жена-перекосица, – играй

мне на чей-нибудь счет увертюру».

– Ишь, как рассказывает!

– Хорошо?

– Да что вам допрашиваться, говорите грамматически о своей жизни – вот и все.

– А у меня в жизни, мой друг, кроме горя, ничего и нет выдающегося.

– Ну вот и расскажите всю эту увертюру: какого вы роду и племени и чтт вы занапрасно терпели. Я люблю слушать, как занапрасно страдают.

– А я все так страдала. Я ведь, не забудь, откупной породы и Бернадакина крестница, потому что папаша у него в откупах служил. Большое жалованье он получал, но говорил, что страсть как много за то на себя греха принял. Впоследствии стал Страшного суда бояться, и все пил, и умер, ничего нам не оставил. А у Бернадакина повсеместно много было крестников, и не всем даже давалось на воспитание, а только чьи выдающиеся родительские заслуги. Меня определили учиться, но у меня объявилась престранная способность: ко всем решительно понятиям развитие очень большое, а к наукам совсем никакой

памяти не было. Ко всему память и соображение хорошие, а к ученью нет – долбицу умножения сколько ни долбила, а как, бывало, зададут задачу на четыре правила сложения – плюсить, или минусить, или в уме составить, например, пять из семьи – сколько в отставке? – то я и никаких пустяков не могу отвечать. Тоже и по словесности – выговор у меня для всего был очень хороший, окатистый, но постоянно отчего-то особливые слова делались, и как на публичном экзамене архирей задал мне вопрос: кто написал Апокалипс Иоанна Богослова – я и не знала.

– Еще бы! – протянула Аичка. – Да на что это и нужно.

– Решительно ни на что – только сбивают. А тут я на шестнадцатом году, милуша моя, вдруг очень выровнялась и похорошела, стала рослая, а личико милиатюрное, и маленькая родинка у подбородка. Точно я будто француженка. И тут со мною самый подлый поступок и сделали…

– Кто же в этом виноват был?

– Всё через родных.

– Это уж как разумеется.

– А потом и пошли меня, бедную, мыкать: француженку, да скорей меня с рук спихивать, кому попало, за русских. Сейчас же вскоре мамаша стала просить о помощи и торопиться, чтобы скорее пять тысяч мне в приданое назначили. Сейчас и жениха какого-то нашли мне – этакого хвата, в три обхвата, и живот этакий имел, – ах, какой выдающийся! Представь себе, так весь огурцом «а-ля-пузй».

– Черт знает что такое! – сказала в возбуждении Аичка.

– Да, мой друг, уж лучше бы и не вспоминать его, – отвечала Марья Мартыновна и продолжала: – а я-то тогда еще всего боялась; но меня ведь и не спрашивали. Он как приехал, так тотчас с мамашей поладил и три тысячи приданого до венца сорвал. Что же, – ведь не родительские, а конторские – Бернадакины. Две тысячи маменька еще себе отшибла: «Мы, говорит, тебя воспитывали и кормили. Надо теперь и о младшей сестре подумать». Я ничего и не спорила, своей пользы не понимала. С женихом обо всем маменька рассуждала и с тем уговаривалась, чтобы он уважал мою сердечную невинность и нико-

гда никакого попрека мне от него не было, а между тем, как ему две тысячи не додали, то он после только и знал, что стал попрекать, и ужасно все мотивировал и посылал, чтобы я ходила просить, и дома со мной ни за что не хотел сидеть. Даже часто ни обедать, ни ночевать не приходил, и моя эта французская миниатюрность, и стройность, и родинка ничего его не только не утешали, а даже он стал меня терпеть не мочь, и именно за то, чем могла я понравиться, делал мне самые обидные колкости.

«Что мне, – говорит, – с тобой за удовольствие? в кости, что ли, я буду играть? Я обожаю в даме полноту в обхождении».

– Значит, вы его в воображение не умели привести, – вставила Аичка.

– И нельзя.

– Это пустяки!

– Нет, нельзя!

– Отчего же?

– Хладнокровие такое имел, как настоящий змей, и это, его-то испугавшись, я и иглу в себя впустила. Он на меня топнул, а я иглу-то вместо подушки в себя воткнула. А по-

том, когда я больная была, и если, бывало, почувствую, где игла колет, и прошу, чтобы скорее доктора пригласить, чтобы из меня иглу вон вытащить, потому что я ее чувствую, так он и тут преспокойно отвечает:

«Для чего такая нетерпеливость! подожди, может быть игла из тебя теперь и сама где-нибудь скоро выскочит».

Аичка рассмеялась и спросила:

– И что же, наконец, вышло?

– Наконец то вышло, что у меня игла нигде не вышла, а зато он сам у своей полной дамы закутился, и попал ему такой номер, что он помер, а я тогда ему назло взяла да сейчас и вышла за подлекаря.

– Этот лучше был?

– Еще хуже.

– Неужели опять в три обхвата?

– Нет!.. Чего там! Этот, напротив, весь был с петуший гребешок, но зато самый выдающийся язвитель. А маменька пристала: «Иди да иди». «Ты, говорит, на французинку подобна, и он к этой породе близок». А его всей близости только и было, что его фамилия была Померанцев, а лекаря его называли «Флердо-

ранж». А его просто лучше бы звать Антихрист. Мне даже пророчество было за него не идти.

– Ах, это люблю – пророчества! Что же было?

– Я только из ворот к венцу с ним стала выезжать, и на передней лавочке в карете завитый отрок с образом сидел, – видно, что свадьба, – а какой-то прохожий в воротах заглянул и говорит: «Вот кого-то везут наказывать».

– Вот удивительно! Ну и как же он вас наказывал?

– Всего, мой друг, натерпелась. Прежде всего он был большой хитрец и притворялся, будто ему нравится моя милиатюрность, а мои деньги ему не нужны. И пришел свататься в распараде, как самый светский питомец: на руке перстень с бриллиантом, и комплимент такой отпустил, что как он человек со вкусом, то в женщине обожает гибкую худобу и легкость, а потом оказалось, что он это врал, а кольцо было докторово, и я ему совсем и не нравилась. Я говорю: «В таком случае зачем же вы врали и притворялись влюблен-

ным?» А он без всякого стыда отвечает: «Золото красиво – с ним нам милой быть не диво», и объяснилось, что он сам обиделся в том, что ожидал получить за мною большой капитал, а как не нашел этого, то тоже желает моею худобою пренебрегать, – и действительно, так начал жить, что как будто он мне и не муж.

– А за это вы могли на него его начальству жаловаться.

– Я и жаловалась. Главный доктор его призвал и при мне же ему стал говорить: «Флердоранж! что же это?» А он начал в свое оправдание объяснять: «Помилуйте, ваше превосходительство, – это немыслимо: в ней игла ходит», и опять и этот тоже пошел мотивировать. Главный доктор даже удивился: велел мужу выйти, а мне говорит: «Что же вы после этого хотите, чтобы я какое распоряжение сделал? Я не могу. Если вы с иглою, то я только и могу вам посоветовать: молитесь, чтобы из вас скорее игла вышла».

– Ишь, какая вы, Мартыновна, на мужское расположение к себе несчастная!

– Да, Аичка, да! За что молоденькую ласкали, за эту милиатюрность и легкость, за то са-

мое потом от мужей ничего я не видала, кроме холодности и оскорбления. Особенно этот подлекарь, – он даже не хотел меня иначе называть, как «индюшка горбатая», и всякую ложь на меня сочинял. «Я, говорит, по анатомии могу доказать, что у тебя желудок и потом спина, и больше ничего нет». Но господь же бог истинно милосерднейший, – он меня скоро от обоих от них освобождал: стал и этот Флердоранж тоже пить и пропадать и один раз допился до того, что поехал дачу нанимать и в саду повесился, а я ни с чем осталась и в люди жить пошла.

– В людях жить трудно.

– Ничего, у меня характер хороший: меня все любят.

– Ну, это вы только хвалитесь.

– Нет! правда.

– А ведь вот вы долго у Степеневых жили, а они вас за что-то выгнали.

– Извините, Аичка, меня никто и ниоткуда не выгонял.

– Ну, отпустили. Ведь это только так, для вежливости говорится, а все равно – выгон.

– И не отпускали, а я сама ушла.

– Через что же вы ушли? Ведь их дом хороший, как вы говорите – «выдающийся».

– Дом был самый очень выдающийся, да через одну причину начал портиться, и к тому же вот с этим местом вышло замешательство.

– С которым местом?

– Вот, где мы с вами теперь находимся в нашей сегодняшней «ажидации».

– Ну, так вот вы про это-то теперь и рассказывайте. Да только отсядьте вы от меня, пожалуйста, подальше на кресло, а то и я боюсь, что в вас иголка.

– Вот какая ты мнительная! Но я, мой друг, теперь ведь уж тельца на себя собрала, и тельце у меня – попробуй-ка – крепкое, просвирковатое!

– Не буду я к вам касаться: я очень мнительная. Подайте мне тоже сюда и мою сумочку с деньгами.

– Я ее хорошенько в комод прибрала.

– Нет, дайте, – я люблю деньги под подушкой иметь… А теперь сказывайте: отчего вы ушли из степеневского дома.

IV

— Тут много сделал падёж бумаг.

– Вы разве на бирже обращались?

– Не я, а деверь у Степеневых, у Маргариты Михайловны. У них в семье ведь немного: всего сама она, эта Маргарита с дочерью, с Клавдинькой, да сестра ее, Афросинья Михайловна, – обе вдовы. Афросинья-то бедная, а у Маргариты муж был, Родион Иванович, отличный фабрикант, но к рабочим был строг до чрезвычайности, «Иродом» его звали – все на штрафах замаривал; а другой его брат, Николай Иванович, к народу был проще, но зато страсть какой предприятельный: постоянно он в трех волнениях, и все спешит везде постанов вопросу делать. Сначала он более всего мимоноски строил, и в это время страсть как распустился кутить с морскими голованерамн. Где он едет, там уж шум и гром на весь свет, а домой приедет – чтобы сейчас ему была такая тишина, какой невозможно. Жена у него была писаная красавица и смиренница, так он ее до того запугал, что она, бывало, если и: одна сидит да ложечкой о блюдце стук-

нет, то сейчас сама на себя цыкнет и сама себе пальцем пригрозит и «дуру» скажет. Но он с нею все-таки ужасно обращался и в греб ее сбил, а как овдовел, так и жениться в другой раз не захотел: сына Петю в немецкий пансион отдал, а сам стал жить с француженками и все мимоноски туда сплавил. Думали: кончен наш Николай Иванович «выпевающий», но он опять выплыл: пристал к каким-то в компанию делать постанов вопроса, и завели они подземельный банк, и опять стал таскать при себе денег видимо и невидимо и пошел большие количества тратить на польскую даму, Крутильду Сильверстовну. Ее имя было Клотильда, но мы Крутильдой ее называли, потому что она все, бывало, не прямо, а крутит, пока какое-то особенное ударение ко всем его чувствам сделает, и тогда стоит ей, бывало, что-нибудь захотеть и только на ключ в спальне запереться, а его к себе не пустить, так он тогда на что хочешь сделается согласен, лишь бы вслед за нею достигнуть.

– Вот это так и следует! – заметила Аичка.

– Да, да; это правда. Он для нее и по-французски стал учиться, а когда сын свое ученье

кончил, он его из дома прогнал. Придрался к тому, что Петя познакомился с Крутильдиной племянницей, и отправил его с морскими голованерами навкруг света плыть, а Крутильда свою племянницу тоже прогнала, а та была молоденькая и милиатюрная, а оказалась в тягости, и бог один знает, какие бы ее ожидали последствия. А сам уж не знал, чем тогда своей Крутильде заслужить: ходил постоянно завит, обрит и причесан, раздушен и одет аля-морда и все учился по-французски. Стоит, бывало, перед зеркалом и по ляжкам хлопает и поет: «Пожолия, пополия». А тут вдруг кто-то в ихних бумагах в подземельном банке портеж и сделал. Страшная кучма народу толпучкой бросилась, чтобы у них свои деньги вынимать, и он до того не в себе домой приехал, что кричит:

«Запри скорей ножницы и принеси мне калитку!»

И еще сердится, что этих его слов не понимают! Мы думали, что он с ума сошел, а это он испугался падежа бумаг и привез к нам какие-то пупоны стричь, да так всё и потерял и за эту стрижку под суд попался, но на счастье

свое несчастным банкрутом сделан. Ну, тут Крутильда его, разумеется, было бросила, а сестра, Маргарита Михайловна, взяла его к себе в службу и все дела ему поручила. Он же год и два простоял хорошо, а потом опять где-то с голованерами встретился и как раз напосудился и так застотертил, что никак его нельзя было успокоить. Маленький удерж недели на две сделает, а потом опять ударит и возвращается домой с страшными фантазиями – называет одну сестру Бланжей, а другую Мимишкой... не понимает, где себя воображает. А станешь просить его, чтобы он вел себя степеннее, он сейчас: «Что такое? Как ты смеешь? Давно ли ты на домашнего адвоката курс кончила? А я на этих увертюрах с детства воспитан!» И всегда в это время у него со мной ссора, а потом после ужасно поладит и шутит: «Мармартын, мой Мармартын, получай с меня алтын», и опять до новой ссоры.

– А вы зачем встревали?

– Для золовок – золовки просили.

– Мало ли что! Разве можно мужчине препятствовать!

– Ах, мой друг, да как же ему не препят-

ствовать, когда он в этих своих трех волнениях неведомо чего хочет, и ему вдруг вздумается куда-то ехать, и он сам не знает, куда ехать!

– Знает небось.

– Нет, не знает. «Мне, говорит, три волнения надоели, и я хочу от них к самому черту в ад уехать». Золовки пугаются и просят меня: «Разговори его!» Я и говорю: «Туда дороги никто не знает, сиди дома». – «Нет, говорит, Мармартын, нет; нужно только на антихристова извозчика попасть, у которого шестьсот шестьдесят шестой нумер, – тот знает дорогу к черту».

И пристанет вдруг ко мне: «Уйдем, Переносица, со мною потихонечку, из дома и найдем шестьсот шестьдесят шестой нумер и поедем к дьяволу! Что нам еще здесь с людьми оставаться! Поверь, все люди подлецы! Надоели они!» И так упросит, что даже со слезами, и жаль его станет.

– И неужели вы с ним ездили? – спросила Аичка.

– Да что, мой друг, делать. По просьбе золовок случалось, – отвечала Марья Мартынов-

на. – Как своя в доме у них привыкла, и когда, бывало, сестры просят: «видишь, какой случай выдающийся, прокатись с ним за город, досмотри его», – я и ездила и все его глупые шутки и надсмешки терпела. Но только в последний раз, когда доканчальный скандал вышел, он меня взял насильно.

– Как же он мог вас насильно взять?

– Я в лавке себе сапоги покупала и очень занялась, а приказчик обмануть хочет и шабаршит: «Помилуйте... первый сорт... фасон бамби, а товар до того... даже Миллера». А он входит – и вдруг ему увертюра московского воспоминания в лоб вступила.

«Я, – говорит, – мать Переносица, ехал и тебя увидал и очень нужное дело вспомнил: отбери мне сейчас шесть пар самых дорогих сапожков бамби и поедем их одной даме мерить». Я говорю: «Ну вас к богу!» – а он говорит: «Я иначе на тебя сейчас подозрение заявлю».

– Ишь какой, однако, прилипчивый!

– Ах, ужасный! совершенно вот как пиявок или банная листва – так и не отстанет. И чего ты хочешь: как его образумить? Во-первых,

кутила, а во-вторых, бабеляр, и еще какой бабеляр! Как только напосудится, так и Крутильду забыл, и сейчас новое ударение к дамской компании, и опять непременно не какие попало дамы, а всё чтобы выдающиеся, например ездовщицы с аренды из цирка или другие прочие выдающиеся сужекты своего времени. А угощать благородно не умел: в каком хочешь помещении дезгардьяж наделает, всего, чего попало, натребует и закричит: «Лопайте шакец-а-гу!» Многие, бывало, обидятся и ничего не хотят или еще его «свиньей» назовут, но ему все ничего, шумит:

«Глядите, инпузории, в пространство, что я могу: я не плотец Скопицын, который с деньгами запирался, а я со всеми увертюрами живу!» И сейчас и начнет свою первую обыкновенную увертюру: всю скатерть с приборами на пол, а платить – «убирайся к черту».

Того и гляди, что его когда-нибудь отколотят.

Я это и говорю его сестрам: «Как хотите, а, по-моему, его надо молитвою избавить от его бесстыдства», и Афросинья сейчас этому и обрадовалась; но он сам ни за что и слышать не

хотел о молитвах.

«Постанов вопроса, – говорит, – такой: чту я – порченный, что ли, чтобы меня отмаливать? Я в духовных делах сам все знаю: я пил чай у преосвященного Макариуса и у патриарха в Константинополе рахат-лукум ел, и после них мне теперь в молитвах даже сам Мономах не может потрафить».

Разумеется, надо было сразу не пощадить на самое выдающееся, но вдова Маргарита Михайловна Степенева хоть и богачка, а замялась в неопределенном наклонении. Я вашего капитала, разумеется, вполне не знаю…

– Это вам и не надо знать, – оторвала Аичка, – вы ведите свои истории, а меня врасплох не испытывайте.

– Конечно. Я только так к слову сказала, я и не любопытна, но все равно на то же вышло. У Маргариты Степеневой, как я вам сказала, есть дочь Клавдия, молодая и прекрасивая этакая девица, собой видная, – красоты вид вроде англичанского фасона, но с буланцем… Воспитывалась она в иностранном училище для девиц женского пола вместе с одною немочкою и сделалась ее заковычным

другом, а у той был двоюродный ее брат, доктор Ферштет; он, этот Ферштет, ее и испортил.

– Спутал? – спросила живо Аичка.

– Нет, – отвечала Марья Мартыновна, – спутать он ее не мог, потому что она бесчувственная, но разные пустые мысли ей вперил.

– Про что же?

– Да вот, например, насчет повсеместного бедствия людей. Сам он такой неслыханный оригиналец был, что ничего ему не нужно; так и назывался: «бессчетный лекарь». Ко всем он шел, а что ему кто заплатит или даже ничего не заплатит, это ему все равно, всех одинаково лечил и к бедным даже еще охотнее ходил и никогда не отказывался, а если дадут, так он сунет в карман и не считает, чтобы не знать, кто сколько дал. Вот он ее этим безразличием пленил и к такой простоте ее свел, что она обо всем образе жизни людей стала иначе думать, и все она начала желать чего-то особенного, чего невозможно и что всех огорчает.

– Непочтительная, что ли, стала?

– Нельзя даже понять – как она, почтительная или непочтительная, но только стало ей

нравиться все удивительное. Вот этот ее подругин брат в ниверситете учился весь свой курс вышел, а служить нигде не захотел. Все этим огорчились, а ей это хорошо.

– Отчего же он служить не пошел?

– Так рассудил, что «на службе, говорит, можно получать различные поручения, каких я делать не хочу, надо в пустяках для угождения много время тратить, и уважать, кого не стоит, и бояться, как бы с дурной стороны не представили, – а я-де ни с кем ни в какую общественную историю попадать не хочу, а хочу лучше сам по своим понятиям людям услуживать». И так без всяких чинов и остался и всю зиму и лето в одной прохладной шинелишке ко всем бедным ходил, пока в прошлом году простудился и умер и семью как есть ни с чем оставил. Спасибо, немцы при похоронах сговорились между собою и все семейство устроили. По Клавдинькиному это все и превосходно, и Клавдинька как только с ним познакомилась, так сделалась от всех своих семейных большая скрытница и все начала Евангелие читать и все читала, читала, а потом все наряды прочь и начала о бедных

убиваться. Сидит и думает. Спросишь: «Что ты все думаешь? чего тебе недостает?» А она отвечает: «У меня все есть и даже слишком больше, чем надобно, но отчего у других ничего нет необходимого?» Ей скажешь: «Что же тебе до этого? это от бога так, чтобы было кому богатым людям служить и чтобы богатые имели кому от щедрот своих помогать», – а она головою замахает и опять все думает и доведет себя до того, что начнет даже плакать.

– О бедных? – воскликнула Аичка.

– Да!

– Что же, они ей лучше богатых, что ли?

– И я это самое ей говорила: чего? Если тебе жаль, поди в церковь и подай на крыльце. От сострадания нечего плакать. А она отвечает: «Я не от сострадания плачу, а от досады, что глупа и зла и ничего придумать не могу». Ну, и стала все думать и придумала.

Аичка сказала:

– Это интересно.

V

Стала она так жить, что начала не надевать на себя ни золота, ни дорогих нарядов. «Для чего мне это? – говорит, – это совсем ненужное и нисколько не приятно и не весело; да это даже и иметь стыдно».

– Отчего же ей это стыдно? – спросила Аичка.

– Для чего на ней дорогие вещи будут, когда на других и самых простых одежд нет.

– Так это же ведь нарочно так и делают, для отлички друг от друга.

– Ну да! как же иначе и разобрать, кто кот – кто повар? А для нее мать сделала тальму из фон-горской козы и морской травы цвета плющ покрыла, а она ее и не надела.

– Это почему?

«Стыдно, – говорит, – такую роскошь носить», – простое пальто ей больше нравится. Сшила себе сама черное кашемировое платье и белые рукавчики и воротнички, и сама их моет и гладит, и так англичанкою и ходит, а летом в светленьком ситце, а что ей мать подарит деньгами или шелковье, она сейчас

пойдет шелковье все продаст и все деньги неизвестно кому отдаст. Мать сначала, бывало, шутя спрашивает:

«Что же ты это, Клавдичка, на молитвы, что ли, всё раздаешь?»

«Нет, – говорит, – маменька, зачем же мне покупные молитвы? Это должен всяк для себя, а я просто так отдаю тем, которым трудно заработать сколько нужно или нечем за ученье платить, когда их детей исключают».

Мать ей и не перечила:

«Что же, – говорит, – отдавай, если хочешь: пусть за тебя бедные бога молят».

Но ей никак не потрафишь сказать.

«Я, – говорит, – маменька, это совсем не для того, а просто мое сердце не терпит, когда я вижу, как я счастлива, а люди живут бедственно».

«Вот потому-то и нехорошо, что ты все ходишь, эту бедственность смотришь: ты на них насмотришься и себя этим и расстраиваешь».

«Все равно, – говорит, – мама, если я на них хоть и смотреть не буду, так я знаю, что они есть и страдают и что я должна делать облег-

чение в их жизни».

«Ну, поступи членом в общество и езди с хорошими дамами; я тебе столько денег дам, что можешь больше всех графинь и княгинь сыпать».

Не захотела.

«Я знаю, – говорит, – что нужно делать».

«Так скажи, что такое?»

Она молчит.

«Отчего же ты такая грустная и такая печальная? На тебя смотреть больно! Отчего это?»

«Это, мама, оттого, что я еще очень зла: я себя еще не переломила и борюсь».

«С кем, мой ангел?»

«С собою, мама. Не обращайте на меня внимания, мне скоро легче будет. Я как-нибудь перейду на свою сторону, теперь я не на своей стороне, – я себе противна».

Дядя Николай Иванович хоть шебаршб, но он любил ее и говорит:

«Не приставайте к ней: она иначе не может; это в ней все от рояльного воспитания. Я знаю, что с ней надо сделать: надо дать ей развязку на веселых увертюрах».

Взвился и привез ей театральный билет в ложу на «Африканского мавра».

Хоть и великий пост был, но для нее поехали. А она у них в театре и разрыдалась.

– Это еще чего?

«Я, – говорит, – вам говорила, что я не могу видеть дикие грубости! В чем вам представляется занимательность, я в том же самом вижу ужас и горе».

«Какой же ужас? В чем тут горе?»

«Как же не ужас: такой огромный, черный мужчина душит слабую женщину, и по какой причине?»

Николай Иванович говорит:

«Ты этого еще не понимаешь: за любовь от ревности самый образованный человек должен из вашей сестры всю кровь пролить».

«Неправда это, – говорит, – какой это образованный человек: это глупость, это зверство! Не должно это так быть, и не будет – я не хочу это видеть!»

И уехали из театра, и так и пошло с ней с этих пор во всех междометиях. Благородные удовольствия, театр, или концерты, или оперы, все это ей не нравится, а назовет к себе

беспортошных ребятишек, даст им мармеладу и орехов и на фортепианах им заиграет и поет, как лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки, и сама с ними утешена – и плачет и пляшет. Этакая красавица, а лягушкой прыгает!..

Видевши это, мать своего священника приходского на духу упросила поговорить с ней, и он на Пасхе, когда приехал с крестом и как стал после закусывать, то начал Клавдиньке выговаривать:

«Нехорошо, барышня, нехорошо, вы в заблуждении».

А она ему бряк наотрез:

«Да, – говорит, – благодарю вас, благодарю, вы правы – и мне тоже кажется, что мы живем в большом заблуждении, но теперь я уже немножко счастливее».

«Чем же-с?»

«Тем, что я уже собой недовольна; я теперь уже не на своей стороне; я себя осуждаю и вижу, где свет».

Он говорит:

«Не много ли вы на себя берете?»

Она замялась и отвечает:

«Я не знаю».

А батюшка говорит:

«То-то и есть! А мы знаем, что на свете должны быть и богатые и бедные, и это так повсеместно».

Она отвечает:

«Это, к несчастию, правда».

«Так и нечего бредить о том, чтобы у нас все были равны».

А она вся стынет, и виски себе трет, и шепотом говорит:

«Бредят невольно».

А батюшка говорит:

«Да, бредят невольно, а, однако, и за невольный бред иногда далеко очутиться можно. Не идите против религии».

«Я не иду, я люблю религию».

«А зачем противного желаете?»

«Разве желать в жизни простоты и чтоб не было терзающей бедности противно религии?»

«А вы как думаете! Да Христос-то признавал нищих или нет?»

«Признавал».

«Так что же, вы ему хотите возражать?»

«Я вам отвечаю, а не Христу. Христос сам жил как нищий, а мы все живем не так, как он жил».

Священник встал и говорит:

«Так вот вы какая!» – и оборотился к матери ее и сказал:

«Маргарита Михайловна! Откровенно вам скажу, уважая вас как добрую прихожанку, я с вашей воспитанной дочерью поговорил, но, уважая себя, я нахожу, что с нею, сударыня, не стоит разговаривать. Вам одно остается: молиться, чтобы она не погибла окончательно».

Маргарита Михайловна, вся красная и в слезах, извиняется и просит у него прощенья, что это вышло как на смех.

Священник смягчился и отвечает:

«Мне, разумеется, бог с нею, пусть чтт хочет болтает, теперь этих глупых мечтаний в обществе много, и мы к ним наслышавшись, – но попомните мое слово, это новое, но стоит старого зла – нигилизма, и дочь ваша идет дурным путем! дурным! дурным!»

Маргарита Михайловна ему скорее красненькую, но он не подкупился, деньги под

большой палец зажал, а указательным все грозится и свое повторяет:

«Дурным путем, дурным!»

Маргарита Михайловна сама рассердилась и, как он вышел, говорит ему вслед:

«Какой злюка стал!»

А Клавдинька без гнева замечает:

«Вы, друг мой мама, сами виноваты, зачем вы их беспокоите. Он так и должен был говорить, как говорил».

«А кого же мне на тебя, какую власть просить?»

«Ну, полноте, мамочка, зачем на меня власть просить, чем я вам непокорна?»

«В очень во многом, в самом важном ты непокорна: грубить ты мне не грубишь, но ты не одеваешься сообразно нашему капиталу, чтобы все видели; не живешь, а все с бедностью возишься, а богатства стыдишься, которое твой дел наживал и за которое отец столько греха и несправедливости сделал».

А Клавдинька тут одною рукою мать за руку схватила, а другою закрыла свои вещие зеницы и, как актриса театральная, вдруг дрожащим голосом закричала:

«Мамочка! мама!.. Милая! не говорите, не говорите! Ничего не будем об отце, – так страшно вспомнить!»

«Разумеется, – царство ему небесное, – он был аспид, а я тебя сама избаловала, и зато думала, пусть хоть духовный отец тебя наставит».

«Мама! да вы сами меня лучше всех можете наставить».

«Нет, я не могу и не берусь!»

«Почему?»

«Мне тебя жаль!»

«Ну, вот я и наставлена. Вы меня пожалели и этим меня и наставили! Я ведь люблю вас, мама, и ничего не сделаю такого, что может огорчить мать-христианку. А ведь вы, мама, христианка?»

И глядит ей в глаза и ластит ее, и так и поладят, и все так, потихоньку, чтт только сама она с собой вздумает, то с матерью и сделает. Уж не только на представление «Мавра» отклонила смотреть, а даже в оперу «Губинотов» слушать – и то говорит: «Не надо, мама; песни хороши, когда их поют от чувства, для скорби или для веселости, а этак, за деньги, –

это пустяки, и за такие трилюзии стыдно деньги платить, лучше отдадим их босым детям». И мать сейчас с нею в этом согласна и улыбается: «На, отдавай, ты какая-то божия». А та ей с большим восхищением: «О, если бы так! если бы я в самом деле была божия!» – и вдруг опять со смехом шутя запоет и запляшет: «Вот, – говорит, – вам даровой театр от моей радости». А мать уж не знает, как и навеселиться. И стало уж Клавдиньке такое житье, что делай все, что ей угодно, у матери и позволения не спрашивай.

«Я, – говорит, – верю, что она меня любит, и ничего такого, что меня огорчит, она не сделает».

Стала Клавдинька ходить в искусственные классы, где разные учебные моды на оба пола допущены, и пристряла к тому, чтобы из глины рожи лепить, и научилась. Все, все, какие только есть принадлежности, она возьмет и вылепит, а потом на фарфоре научилась красить и весь дом намусорила, а в собственную в ее комнату хоть и не входи, да и не позволяет, и прислуги даже не допускает. Намешает в тазу зеленой глины, вывалит все на доске,

как тесто, и пойдет пальцами вылепливать.

– Это, однако, ведь трудно, – заметила Аичка.

– Ничего не трудно, – отвечала нетерпеливо Марья Мартыновна. – Обозначит сначала нос и рот, а потом и все остальные принадлежности – вот и готово. А фарфор нарисует, но без мужика обойтись не может, – выжигать русскому мужику отдает. А потом все эти предметы в магазины продавать несет. Мать и тетка, разумеется, сокрушаются: ей ли такая крайность, чтобы рукоделье свое продавать! При таком капитале и такие последствия! А выручит деньги – и неизвестно куда их отнесет и неизвестным людям отдаст. А тогда, знаешь, как раз такое время было, что разом действовали и поверхностная комиссия и политический компот. Кому же она носит? Если бедным, то я, бедная женщина, сколько лет у них живу, и от матери и от тетки подарки видела, а от нее ни на грош. Один раз сама прямо у нее попросила: «Что же, говорю, ты, Клавдичка, мне от своих праведных трудов ничего не подаришь? хоть бы купила на смех ситчику по нетовой земле пустыми травка-

ми». Так она и шутки даже не приняла, а твердо отрезала: «Вам ничего не надобно, вы себе у всех выпросите». Господи помилуй! Господи помилуй! Этакое бесчувствие! Правда, что я не горжусь, – если у меня нет, я выпрошу, но какое же ей до этого дело! Так же и против матери: в самые материны именины, вообрази себе, розовый цветок ей сорвала и поднесла: «Друг мой мама! говорит, вам ведь ничего не нужно». И вообрази себе, та соглашается: «У меня, говорит, все есть, мне только твое счастье нужно», – и целует ее за эту розу. А Клавдинька еще разговаривает:

«Мамочка! что есть счастие? Я с вами живу и счастлива, но в свете есть очень много несчастных».

Опять, значит, за свое, – даже в именинный день! Тут я уже не вытерпела и говорю:

«Вы, Клавдинька, хоть для дня ангела маменькиного нынче эту заунывность можно бы оставить вспоминать, потому что в этом ведь никакой выдающейся приятности нет».

Но мать, представь себе, сама за нее заступилась и говорит мне:

«Оставь, Марья Мартыновна, и скажи лю-

дям, чтобы самовар отсюда убирали». А в это время, как я вышла, она дарит Клавдиньке пятьсот рублей: «Отдай, – говорит, – своей гольтепе-то! Кто они там у тебя такие, господи! может, страшно подумать».

– А вы как же это видели? – спросила Аичка.

– Да просто в щелочку подсмотрела. Но Клавдинька ведь опять и из этих денег никому из домашних ничего не уделила.

– Отчего же?

– Вот оттого, дескать, что «здесь все сыты».

– Что же, она это и правильно.

– Полно, мой друг, как тебе не стыдно!

– Ни крошечки.

– Нет, это ты меня дразнишь. Я знаю... Будто человеку только и надо, если он сыт? И потом сколько раз я ни говорила: «Ну, прекрасно, ну, если ты только к чужим добра, зачем же так скрытна, что никто не должен знать, кому ты помогаешь?»

«Добр, – отвечает, – тот, кто не покоится, когда другие беспокойны, а я не добра. Вы о доброте как должно не понимаете».

«Ну, прекрасно, я о доброте не понимаю,

но я понимаю о скрытности: для чего же ты так скрываешься, что никакими следами тебя уследить нельзя, куда ты все тащишь и кому отдаешь? Разве это мыслимо или честными правилами требуется?»

А она, вообрази, с улыбкою отвечает:

«Да, это мыслимо и честными правилами требуется!»

«Так просвети же, – говорю, – матушка: покажи, где эти правила, в какой святой книжке написаны?»

Она пошла в свою комнату – выносит маленькое Евангелие.

– Всё с Евангелием! – перебила Аичка.

– Да, да, да! Это постоянно! У нее все сейчас за Евангелие и оттуда про текст, какого никогда и не слыхивала; а только понимать, как должно, не может, а выведет из него что-нибудь совсем простое и обыкновенное, что даже и не интересно. Так и тут подает мне Евангелие и говорит:

«Вот сделайте себе пользу, почитайте тут», – и показывает мне строчки – как надо, чтобы правая моя не знала, что делает левая моя, и что угощать надо не своего круга лю-

дей, которые могут за угощенье отплатить... и прочее.

Я знаю, что с ней не переспоришь, и отвечаю:

«Евангелие – это книга церковная, и премудрость ее запечатана: ее всякому нельзя понимать».

Она сейчас возражать:

«Нет, то-то и дело, что Евангелие для всех понятно».

«Ну, а я все-таки, – говорю, – я Евангелие лучше оставлю, а у батюшки спрошу, и в каком смысле мне священник про это скажет, так я только с ними, с духовными, и согласна».

И точно, действительно я захотела ее оспорить и пошла к их священнику. Я ему в прошлом году пахучую ерань услужила – у его матушки сера очень кипит, так листок в ухо класть, – а теперь зашла на рынок и купила синицу; перевязала ее из клетки в платочек и понесла ему, так как он приходящих без презента не любит и жаловался мне раз, что у них во всем доме очень много клопов и никак вывести не могут.

«Вот, – говорю, – вам, батюшка, синичка; она и поет и клопа истребляет. Только, пожалуйста, не надо ее ничем кормить, – она тогда с голоду у вас везде по всем щелям клопов выберет».

– Неужели это правда? – спросила Аичка.

– Что это?

– Насчет синицы, что она клопов выберет?

– Как же! всех выберет.

– Удивительно!

– Что ты, что ты! Это самое обыкновенное: бывало, наши откупные и духовные всегда для этого синиц держат. И священник меня поблагодарил.

«Знаю, – говорит. – Старинный способ! Перепусти синичку в клеточку, а когда она оглядится, я ее по комнате летать выпущу, – пусть ловит; а то нынче персидский порошок стали продавать такой гадостный, что он ничего и не действует. Во всем подмеси».

Я сейчас же к этому слову и пристала, что теперь, мол, уж ничего не разберешь, что какое есть. И рассказываю ему про Клавдюшины выходки с Евангелием и говорю:

«Неужто же, – говорю я, – в Евангелии дей-

ствительно такое правило есть, что знакомства с значительными людьми надо оставить, а все возись только с одной бедностью?»

А он мне отвечает:

«А ты слушай, дубрава, что лес говорит; они берутся не за свое дело: выбирают сужекты, а не знают, как их понять, и выводят суетная и ложная».

«А вы отчего же, – спрашиваю, – о таких ихних ложных сужектах никому не доводите?»

«Доводили, – говорит, – матушка, и не раз доводили».

«Так как же они смеют все-таки от себя рассуждать и утверждать все свое на Евангелии?»

«Такое уж стало положение; ошибка сделана: намножены книжки и всякому нипочем в руки дадены».

«И зачем это?»

«Ну, это долго рассказывать. Раньше негодовали, что слабо учат писанию, а я и тогда говорил: „учат хорошо и сколько надо для всякого, не мечите бисер – попрут“; вот они его теперь и попирают. И вот, – говорит, – и

пошлу – и неурожаи на полях и на людях эта непонятная боль – вифлиемция».

Словом, очень хорошо говорил, но помощи не подал. Даже и побывал у них после этого, но, прощаясь с нею, сказал только:

«Пересаливаете, барышня, пересаливаете!»

А она вскорях и еще лучше сделала: взяла да и пропала.

– Так совсем и пропала? – удивилась Аичка.

– Нет, прислала матери депеш, что у нее одна бедная подруга заболела в черной оспе, и у нее престарелая мать, и за ней никто ходить не хочет, так вот доктор Ферштет и взялся лечить, а наша Клавдичка ее навестила и осталась при ней сестрой милосердия ухаживать, а домой депеш прислала, у матери прощения просит, что боится заразу занести.

Анчка вздохнула и сказала:

– Поверьте, она испорчена.

– Да, все может быть; а поговори с ней, так у нее опять и это тоже будто по Евангелию. А сколько мать перемучилась – рябая или без глаз дочь вернется, – это ей ничего. И когда она благополучно вернулась, то опять проси-

ли священника с нею поговорить, и он ей опять сказал: «Пересаливаете! жестоко пересаливаете». А она ему шутит:

«Это лучше; а если соль рассолится – это хуже. Тогда чем ее сделать соленою?»

Но священник ее на этом хорошо осадил:

«Тексты, – говорит, – барышня, мало знать, – надо знать больше. Рассаливается соль не наша, которую все ныне употребляют, а слабая соль палестинская; а наша соль, елтонка, крепкая – она не рассаливается. А вот у нас есть о соли своя пословица: что „недосол на столе, а пересол на спине“. Это бы вам знать надобно. Недосоленное присолить можно, а за пересол наказывают».

Но она хоть бы чтт, весь страх потеряла.

Тогда я говорю ее матери:

«Ее простой священник ничего и не может пристрастить, это очевидно; на нее теперь надо уж что-нибудь выдающееся». – И упоминаю про «здешнего».

А сестра ее Ефросинья и себя не слышит от радости и много стала рассказывать, что в здешнем месте бывает.

«Попробуем, – говорю, – обратимся, пригла-

сим, кстати и для Николая Ивановича тоже ведь это очень хорошо, для его воздержания».

Но Маргарита Михайловна как-то замялась и что-то, вижу, утаивает и неправильно отвечает.

«В моем горе, – говорит, – с нею никто не поможет».

«Отчего это не поможет?»

«Оттого, что она ведь и сама все руководит себя по Евангелию».

«Полноте, пожалуйста, – говорю, – у вас это в душе отчаяние, а отчаяние – смертный грех. Другое дело, если вам жаль денег; так ведь ему нет положения, сколько денег давать, а сколько дадите, да и то он себе ведь совершенно ничего не берет, даже ни малости, а все для добрых дел, – так ведь Клавдия Родионовна и сама добрые дела обожает».

«Не о деньгах, – говорит, – а…»

«Хлопоты, что ли?»

«И не хлопоты, а какую же веру он у нас встретит?.. вот с чем совестно: ведь не только Клавдинька, а и деверь Николай Иванович – он в церковь ктитором только для ордена пошел, а о своем воздержании он молить и не

захочет».

«Да, голубчик мой, ведь на это же средство есть: мы ему ведь и не скажем, что о нем молятся: мы дадим вид, будто это для Клавдиньки».

«А Клавдинька еще хуже обидится».

«А мы и от нее скроем, ей мы скажем, что это для дяди».

«Вот все, значит, так и начнется у нас обманом, и будет ли это угодно?»

«Что же такое? Да, сначала будет будто немножко обман, а кончится все в их пользу».

Маргарита стала соглашаться, а я кую железо, пока горячо, и предлагаю, что сама готова съездить и все в здешнем месте уладить.

«Я, мол, найду выдающихся лиц, которые все знают, и съезжу, и приглашу, и в карете навстречу ему выеду. Вам только и хлопот, что мне на расход выдать».

А она отвечает:

«Не о том речь, а что если он действительно все принадлежности-то в человеке насквозь видит, – так я боюсь и удивляюсь, как это вам не страшно. Или вы обе безгрешные?»

И я и сестра ее Ефросинья Михайловна ста-

ли ее успокаивать, что и мы не безгрешные, но что этого не надо бояться, потому что он хоть на что ни прозрит – все видит, но он все в себе и задержит, а на весь свет не скажет. Да, наконец, и какие же у вас особенные грехи?

А она говорит:

«Есть».

«Что же это за грех?»

«А я, – говорит, – и сама не знаю, а только всегда, когда что-нибудь против Клавди завожу, то это выходит дурно».

«Ну, это искушение. А еще что ж?»

«А еще вон деверь Николай Иванович в безбраке с Крутильдой живет и для угождения ей законного сына Петю от себя выгнал. Я его жалею конфузить».

«Матушка, – говорю, – да ведь это же он для женского угождения! Ведь это же влюбленные мужчины и все над детьми своими подлости делают, – это такие невыдающиеся пустяки!»

«Нет, это, – говорит, – не пустяки, чтоб свое дитя прогнать. Я постоянно того и гляжу, что у Клавдиньки с дядею за его несправедли-

вость с Петей может самый горячий скандал выйти».

Я поняла, что она умом всюду вертится и боится того, чтобы не обнаружилось, что в ее дорогой Клавдиньке заключается; но в этот раз я на своем не настояла: не поспел еще тогда час воли божией.

Заботилась она опять, чтобы Клавдию развлекать: пробовала опять брать ложи на «Губинотов» и Бурбо слушать, но из сил с нею выбилась и говорит мне: «Милый друг наш, Марья Мартыновна, мы тебя за свою семьянку считаем и к тебе прибегаючи: ты бы пустилась раз подсмотреть, куда она ходит, и кому свои деньги отдает, и отчего удовольствий никаких не желает».

Я говорю: «Извольте, я для вас готова».

И после этого сразу же, как только Клавдинька со двора, и я сейчас за нею, как полицейский аргент, и все издали. Она пешком – и я пешком, она на гонку – и я в следующем агоне, она на извозчика – и я тоже, но из глаз ее не выпускаю. Раз, два, три таким манером за ней погонялась и, наконец, выследила, что чаще всего она проникает в бедный домик, и

в одну квартирку юркнула с свертками. Я сейчас к дворнику, дала ему на чай и стала расспрашивать: кто в этой квартирке живет? Говорит: «Одна бедственная старушка обитает». – «Кто же к ней ходит?» – «Приходят, говорит, одна барышня да племянник ейный». – «Молодой, спрашиваю, племянник?» – «Молодой!» – «И вместе сходятся?» – «Бывают и порознь, бывают и вместе».

Поймала голубку!..

– Ее вы поймали, а меня не жмите; я вам сказала, что хоть вы и просвирковатая, а я вашей иголки боюсь, – отозвалась с усиленной полусонной оттяжкой Аичка.

– Ах ты, приятненькая! Дай мне только хоть твое мармеладное плечико-то поцеловать...

– Ни за что на свете! мои плечи не для таких поцелуев созданы. Продолжайте рассказывать.

VI

Взворотилась я домой к Степеневым и, как умела, все им передала.

– Ну, да уж, я думаю, вы сумеете!

– Конечно, сумела. Парень с девкою такой выдающейся у старухи сходятся, – что тут еще угадывать, чем они занимаются?

Я, впрочем, – не думай, – я не матери, а только тетке Ефросинье Михайловне сказала, а она вспомнила, что у них мать была раскольница и хоть по поведению своему была препочтенная, но во всех книгах у своего же дворника «девкой» писалась, то ей и стало Клавдию жалко, и она дала мне тридцать рублей и просила:

«Молчи, друг мой Мартыновна, никому об этом грандеву не рассказывай: тайно бо содеянное – тайно и судится. Ежели это уже сделалось, то пусть погуляет, ее фигура милиатюрная, ничего не заметно будет, а мы тем часом ей жениха найдем. Тогда уж она не станет капризничать».

Стала тетка Ефросинья Михайловна ходить по свахам, Клавдиньке женихов выспра-

шивать, и успех был очень порядочный, даже, можно сказать, выдающийся; но она, вообрази себе, кто ни посватает, обо всех один ответ:

«Я не знаю его образ мыслей; нужно, чтобы мы были друг другу по мыслям».

Вот ведь у них – не то чтобы как следует человек по своему роду или по капиталу подходил, или по наружности личности нравился, а у них чтобы себе по мыслям добирать!

А потом вдруг сама объявляет, что ей по мыслям пришел Ферштетов родственник, доктор.

Мать-то Маргарита – полная – как услышала это, так и бряк с ног, села на пол.

Клавдинька ее поднимать, а она приказывает:

«Оставь!.. Убивай меня здесь! Он из немцев?»

«Да, мама».

«А какой он веры?»

«Реформатор».

«Что такое еще за реформатор, с кем родниться приходится?»

Дядя же Николай Иванович был подвы-

пивши и говорит:

«Реформаторы, это я знаю: это те самые, которых вешают».

«Господи!»

А Клавдинька обернулась на него вполоборота и говорит:

«Перестаньте, дяденька, мою мать тревожить и себя стыдить. Реформатская церковь есть».

Николай Иванович говорит:

«А это другое дело, но постанов вопроса такой: я, как выдающийся член в доме и патриот, желаю, чтобы ты выходила за правильного человека настоящей православной веры».

А она отвечает:

«Ну, полно вам, дядя, что вы за богослов! вы так говорите, а сами и никакого православия отличить не можете».

«Нет, это ты лжешь! я старостой был и своему батюшке даже набрюшник выхлопотал».

Тогда Клавдюшенька ласково его потрепала и говорит:

«Вот, только-то всего вы и знаете, как набрюшники выхлопатывать. Встаньте-ка лучше с этого табурета да подите велите себя об-

чистить, а то вы все глиною замарались».

Николай Иванович ушел, и все покончилось, но на другой день опять приходит к ней в высшем градусе, и видит кругом рожи с рожками да с козлиными ножками, и опять ей начал говорить:

«Когда это можно было ждать, чтобы девушка, наследница купеческого рода, и этакое уродство лепила! На что они кому-нибудь, эти болвашки?»

А она нимало не злобится и говорит:

«Вы мне что-нибудь другое закажите, я вам по вашему заказу другое сработаю».

Дядя говорит:

«Я согласен и могу тебе бюстру заказать, но только божественное».

«Закажите».

«Сделай моего ангела Николу, как он Ария в щеку бьет. Я прийму и заплачу».

«Лучше сделайте, как он о бедных хлопотал или осужденных юношей от казни избавил».

«Нет, этого я не могу. Я сам бедным подаю и видел, как казнят... Это тоже необходимо надобно... Их священник провожает... А ты

представь мне, как святитель посреди собора Ария по щеке хлопнул».

Сейчас и пошел у них новый спор, пошел и о казни и о пощечине, и Клавдинька в конце говорит:

«Я этого не могу».

«Почему? Разве тебе не все равно?»

«Во-первых, мне это не равно, потому что хорошо то работать, что нравится, а мне это не нравится; а во-вторых, слава богу, теперь известно, что этой драки совсем и не было».

Николай Иванович сначала удивился, а потом и стал кричать:

«Не смей этого и говорить!.. Потому что это было, да, было! Он его при всех запалил».

А Клавдия говорит:

«Нет!»

Дядя говорит:

«Ты это только для того со мной споришь, чтобы мне досадить, потому что я его уважаю».

А Клавдия отвечает:

«А мне кажется, что *я* его уважаю больше, чем вы, и хочу, чтобы и вы то знали, за что его уважать должно».

И чтобы спор порешить, Николай Иванович вздумал ехать ко всенощной, а оттуда к какому-то профессору, спрашивать у него: было ли действие с Арием? И поехал, а на другой день говорит:

«Представьте, я вчера с профессором на блеярде играл и сделал ему постанов вопроса об Арии, а он действительно подтверждает, что наша ученая правду говорит, – угодника на этом соборе действительно совсем не было. Мне это большая неприятность, со мной через это страшный перелом религии должен выйти, потому что я этот факт больше всего обожал и вчера как заспорил, то этому профессору даже блеярдный шар в лоб пустил; теперь или он на меня жалобу подаст, и я должен за свою веру в тюрьме сидеть, или надо ехать к нему прощады просить. Вот какая мне катастрофа от Клавдии сделана!»

Сел и зарыдал.

Тут Ефросинья Михайловна за него вступилась и говорит сестре:

«Как ты себе хочешь, Маргаритенька, а что же это такое в самом деле, что от Клавдюши уже все плачут; теперь и мне в твоем доме

жутко, хоть со двора беги». Тогда и Маргарита согласилась и ко мне обращается:

«Съезди, – говорит, – пожалуйста, Мартыновна, и пригласи».

Я отвечаю:

«И давно бы так: благо теперь такой выдающийся случай, что окончательно все принадлежности можно спутать, так что из них никто и не разберет, для кого это делается: Николай Иванович будет думать, что это для Клавдиньки, а Клавдинька пусть думает, что для Николая Ивановича».

И Маргарита и Ефросинья меня расцеловали.

«Ты, – говорят, – у нас умница, прокатись, милая, и все как должно обделай, чтобы мне без хлопот, только деньги выдать».

«Извольте, но только напишите приветственное письмо от себя и от Николая Ивановича, как от выдающегося члена фамилии, чтобы мне было с чем приехать приглашать. Без этого немыслъмо».

Они согласились, но только вышло затруднение, кто это письмо напишет, потому что старухи пишут куриляпкою и своего руки

подчерка совестятся, а у меня *те, ша* и *ша, те* всегда в один вид сливаются, и в другой раз смысла не выходит. Да и не знаем, как ему надо подписывать: просто его высокопреподобию или высоко-оберпреподобию.

Вздумали: позовем Клавдиньку, – она больше всех катехизис учила и должна все формы духовного обращения знать.

Но только попросили Клавдиньку, чтобы пришла из своей комнаты письмо написать, с нею сейчас опять сразу же неприятность готова: пришла, села и перо в руки взяла, а как только узнала, к кому, – опять перо положила и руку вытерла и встала.

Мать спрашивает, что это значит, а она извиняется:

«Я, – говорит, – мама, не знаю, как к этим господам писать принято, а потом, мне кажется, что если позволите сказать вам мое мнение, то мне кажется, зачем призывать лицо из такой отдаленности, а своих ближних лиц этого звания устранять. Ведь они все одно и то же могут исполнить, зачем же обижать ближних?»

Старуха и задумалась.

Ну, я вижу, что это пойдет опять множественный разговор в неопределенном наклонении, и скорей перебила:

«Оставьте, – говорю, – я слетаю в меховой магазин на линию, там всегда ажидацию сбивают и должны знать, как к нему письма писать!» – и полетела.

Там сразу написали, и я к Николаю Ивановичу понеслась, чтобы он подписал.

– Вот хлопотунья вы! – протянула Аичка.

– Да, внутри себя с иголкой… я уж всегда этакая развязная и живая. Но представь ты себе… я не знаю, ты веришь или не веришь в искушения?

– Как же, верю, а в другой раз не верю.

– Завсегда верь; я всегда верю, и они, как нарочно, бывают, когда человек к вере близится. Так и тут, вообрази, что случилось!..

Николая Ивановича я в их магазине не застала. Приказчики говорят, что он опять в угаре и пошел с галантерейными голанцами в «Паганистан» завтракать и шары катать. Я в «Паганистан» и посылаю с швейцаром письмо, чтобы Николай Иванович подписал, а он уже всех голанцев разогнал и один сидит,

черный кофе с коньяком пьет и к себе меня в кабинет требует. Я вхожу и вижу, что у него рожа бургонская, потому что он не только от вчерашнего еще не прохладился, а на старые дрожжи еще много и нового усердия подбавил. Стал читать и ничего уже не разбирает. Держит листок и сам спрашивает меня:

«Про что это здесь настрочено это к Корифеям послание, – я ничего не понимаю».

Я говорю:

«Это в вашем же желании, о выдающемся благочестии, чтобы Клавдиньке дать полезную назидацию».

А он отвечает:

«Но мне, теперь все равно, если Арию плюхи не дано, так не надо никому и назидации».

А я и ухватилась за это.

«Вот, – говорю, – мы в этом же и сделали политический компот, – чтобы ее, нашу ученую, и упровергнем и покажем ей плюху во всю щеку румянца. Так и так: я вот кого на нее привезть хочу, и только за вами дело стало, чтобы вы письмо подписали и встретить поехали. Вам это не трудно будет надеть на себя на один час свои принадлежности».

«Нет, – говорит, – теперь такой постанов вопроса, что я в выдающемся роде расстроен, у меня в подземельном банке самые вредные последственные дела вскрываются, и если еще узнают ко всему этому, что я особенное благочестие призываю, то непременно подумают, что я совсем прогорел, и это мне всего хуже. А ваш женский политический компот я и знать не хочу, а поеду, все остальное промотаю и на сестру векселей напишу».

Я вижу, что он в таком безрассудке, и домой его зову, но он и слышать не хочет.

«Да ты, – говорит, – что это... давно, что ли, на домашнего адвоката экзамен сдала? так я тебя сейчас же или по-домашнему побью, или такой постанов вопроса сделаю, что позову из общей залы политического аргента и тебя за компот под надзор отдам. А если хочешь всего этого избавиться, то отправимся со мною вместе, заедем в родительный дом».

«Зачем, – говорю, – батюшка, зачем в родительный дом?»

«Мы там захватим с собою одну знакомую дежурную акушерку, Марью Амуровну».

«Да что ты, осатанел, что ли! мне не нужно

дежурную акушерку».

Но он ведь такой неотстойчивый, что как прицепится, то точно пиявок или банная листва. К чему он затеял эту акушерку, и пошел ее выхвалять так, что я даже понять не могу, на каком она иждивении.

«Марья Амуровна, – говорит, – в акушерках состоит только для принадлежности звания, а она живет в свое удовольствие; поедем с ней в отель „Лангетер“ и будем без всего дурного антруи клюко пить, и она будет одна танцевать».

«Так зачем же, – говорю, – антруи ехать? Я не хочу, вдвоем поезжайте».

«Нет, – говорит, – теперь к женскому полу кто вдвоем ездит – гонение; Марье Амуровне могут быть неприятности, а ты будешь при нас вроде родственной дамы за ширмой торчать. Я тебе за это на караганчатом меху тальму дам».

И как пристал, как ущемил меня: едем и едем антруи, так и не отпал, как пиявок, и я должна была ехать, и все его безобразие видела; до самого утра они короводились, а я за ширмой спала, пока акушерка дальше и боль-

ше начала с ним спорить, и он с нею поссорился, и она одна уехала. Тогда я насилу могла уговорить его выйти и в карету сесть. Но и то дорогой все назад рвется – говорит:

«Мне еще рано, ведь я полунощник».

Я говорю:

«Какая же теперь полнощь! Посмотри на часы-то на каланче: ведь уж утро!»

А он отвечает:

«Эти часы неверно стрелку показывают, а я по тому сужу, что фимиазмы слышу: это, значит, ночные фортепьянщики с ящиками едут – стало быть, до утра еще далеко».

И вдруг ему показалось, будто ему в «Лангетере» чужую шляпу надели. Никак его не могу переспорить, что на нем его собственная шляпа, которая и была.

«Нет, – говорит, – я отлично помню, что у меня был надет круглый цимерман, а зачем теперь на мне плоский цилиндр? Это, может быть, какой-нибудь ваш политический компот действует, а с меня так монументальную фотографию снимут, и я потом должен буду за тебя или еще за какую-нибудь другую фибзу отвечать и последую в отдаленные места,

даже и самим ангелам неведомые… Нет, ты меня в компот не запутаешь. Я тебе сам политический процесс сделаю и буду кричать; „Спаси, господи…“»

И начал городового звать.

Чтобы его утихомирить, я уже и говорю ему:

«Черт с тобою совсем, возвращайся в „Лангетер“, я на все ваши виды согласна».

Он и успокоился.

«Хорошо, – говорит, – вот это я люблю. Мы теперь и не будем возвращаться, а поедем с тобою на танцевальный вечер. Этих хозяев осуждают, для чего к ним честные дамы не ездят, – ну, вот я к ним тебя и привезу вместо честной дамы. Там до позднего утра безобразить можно… Но только смотри – дома об этом типун… ни слова!»

«Да уж разумеется, – говорю, – типун. Что мне за радость про свой срам-то рассказывать, куда ты меня, несчастную, возишь».

А он ласковый сделался и говорит:

«А ты, если хочешь покойна быть, – не думай ничего дурного: это место общественное, тут пальтошников нет, а разная публика и

при ней популярные советники и интригантусы; мы здесь в своей компании всю анкогниту видим и называем себя „дружки“. Три мускатера: Тупас, Тушас и Туляс, а я у них командир. Тупас – это веселый голанец; а Тушас химиком с завода считается, но он не химик, а вот именно самый популярный советник, он присоветует; а Туляс – интригантус, он всех и спутает. Ему стоит чью-нибудь карточку показать – и все сделает, познакомится, спутает и в руки доставит».

«Господи! да это насчет чего же?»

А он отвечает:

«Насчет чего хочешь и не хочешь».

«Жалованье большое вам идет?»

«Аргенту, – говорит, – и интригантусу идет, а я по своему благородному желанию из чести поступил, а теперь назад вон выйти уже невозможно».

Публика же в этом их обществе всё оказались больше одни кукоты да кукотки, и кукоты все неглиже, как попало, а кукотки одни разодеты в шелковье, а некоторые скромно, будто в трауре, и все подходят к Николаю Ивановичу, как знакомые, и кричат: «Коман-

дир», «Командир», и меня нисколько не конфузятся, а руки подают и зовут вежливо: «мете ву пляс», то есть значит: садитесь на место. А ему – вообрази, как только он увидал аргента и интригантуса, – опять постанов вопроса о компоте в голову лезет, и он мне шепчет на ухо:

«Ты, пожалуйста, пей и не отказывайся, а то у меня этот интригантус теперь перед глазами вертится, и если я на тебя рассержусь, то я ему могу про компот рассказать, а он после, пожалуй, и меня самого запутает».

Я ни жива ни мертва. Думаю: пьяный все сказать может, – но пью поневоле и не знаю, чем дело кончится. А компания у них ужаснейшая: голанец этот как арбуз комышенский, а аргент и интригантус сами небольшие, но с страшными усами, а Николаю Ивановичу и всех еще мало, и он набирает еще в компанию кого попадя и мне рекомендует: «Этот актер – я его, говорит, люблю: он в том состарился, что при столах всех смешит». И целует его: «Пей, мамочка!» – «Этот сочинитель: он мне к именинам нежную эпитафию напишет. Этот – художник: он мне план садо-

вой керамиды Крутильде на дачу сделает, а этот в опере генерал-бас, лучше Петрова петь может...» А потом на минуту мужчин бросит и к траурным кукоткам по-французски... да все плохо у него выходит, все вставляет: «коман-дир» да «коман-дир», а те ему – «тре-шепетй» да «тре-журавлие», и веерами его хлопают, а он тыр-тыр-тыр, и перметй муа сортир, и заикнется, и спятится. И опять скорей по-русски чего-нибудь требует: всё ему подавайте, что нужно и что никому не нужно, а француженки только – «паси» да «перепаси», не столько едят, сколько ковыряют, а фицианты всё еще тащут и расковыренное назад уносят, а за буфетом втройне счет приписывают, а он знай командует: «Клюко, корнишон, брадолес, цыгар таких да цыгар этаких!» И все «пасй» да «перепаси» и от еды отпали, а только пьют, чокаются и заспорили про театральных.

Актер стал генерал-баса упровергать и говорит, что против Петрова ему никогда не спеть, и такую Ругнеду развели, что все кукотки ушли, а маскатеры уж один другого крошат как попало и всё ни во что не считают.

Кто-то кричит уже, что про Петрова совсем и вспоминать не стоит. А другой перекрикивает: «Я Тумберлика всем предпочитаю». А третий: «Я Кальцонари и Бозю слушал...» «А я помню еще как Бурбо выходила в „Трубедуре“», а Лавровская в «Волшебном стрельце». Тут кто-то про Лавровскую сказал: «А зачем она когда поет, то глазами моргает?» А Николай Иванович за нее заступился и закричал, что он всех выше одну Лавровскую обожает, и стал ее представлять: заморгал веками и запел женским голосом:

Медный конь в поле пал!
Я пешком прибежал!

А одному военному это не понравилось, и он говорит: «Лучше нашу кавказскую полковую», – и завел:

В долине Драгестанна
С винцом в груди
Заснул отрадно я.

А другие разделились и хватили подтягивать кто кому попало, и завели такую кутиню, что стало невозможности, и вдобавок вдруг у Николая Ивановича с официантами

возъярился спор из-за цыгар, и дело до страшного рубкопашного боя угрожается. Он спрашивал какое-то «Буэно-Густо», и палили, а когда ящик потребовал, то оказалась надпись «Гуэно-Бусто», или будь оно пусто, а Николай Иванович взял все цыгары разломал, и расшвырял, и ногами притопал. Это уж такой обыкновенный конец его поведения, чтобы сделать рубкопашную.

Тогда сейчас, чтобы этого не допустить, явился немец или еврей из-за буфета и начинает его стыдить по-французски, а он, когда до денег дошло, уже не хочет затруднять себя по-французски, и высунул вперед кукиш и по-немецки спрашивает:

«Это хабензи гевидел?»

«То есть, значит, вы не хотите платить?»

«Нет, – говорит, – подавай мне счет!»

А когда подали счет, так он не принимает:

– Тут, – говорит, – все присчитано.

Проверяет.

– Что это писано: «салат с агмарами» – я это не требовал... «Огурцы капишоны» – не было их.

Еврей ему уж по-русски говорит:

«Помилуйте, как же не было! Ведь этак можно сказать, что и ничего не было подано».

«Нет, – говорит, – этак со мной не разговаривать! Я что видел на столе, за то плачу. Вот я вижу, что на столе лежит рыба-фиш, – и изволь бери за нее шиш, я за нее плачу, а суп братаньер здесь не был, и ты его приписал, и я не плачу».

«Да какой суп братаньер?.. про него и не писано».

«Ну, все равно, ты другое приписал». – И так заспорил – что хочешь с ним делай, он ни гроша не платит.

Я говорю этому хозяину:

«Сделайте милость, теперь его оставьте... ведь это он только теперь этак... а завтра пришлите ему в кладовую счет... он вообще господин очень хороший».

А еврей отвечает:

«Мы знаем, что он вообще господин очень хороший, но только зачем он такой дурной платить!»

Однако выпустили. Думаю, наконец с миром изыдем, ан нет: в швейцарской захотел было что-то дать швейцару из мелочи и за-

спорил:

«Не мои калоши, – говорит, – мне подали: мои были на пятаках с набалдашниками!»

Шумел, шумел и всю мелочь опять назад в карман сунул, и ничего не дал, и уехал.

На воздухе дремать стал и впросоньях все крестится и твердит: «сан-петь, сан-петь».

Я его все потрогиваю – как бы он не умер, – он и очнулся.

«Я, – говорю, – испугалась, чтобы ты не умер».

«И я, – говорит, – испугался: мне показалось, что у меня туз и дама сам-пик и король сам-бубен...»

«Эге! – думаю, – батюшка: вон ты уж как залепетал!»

«Высуньтесь, – говорю, – вы, Николай Иванович, в окошко – вам свежесть воздуха пойдет».

Он высунулся, и подышал, и говорит:

«Да, теперь хорошо... теперь уже нет фимиазмы. Значит, все фортепьянщики проехали... и вон мелочные лавочки уж открывают. Утро, благослови господи! Теперь постанов вопроса такой, что ты вылезай вон и ступай домой, а я

один за заставу в простой трактир чай пить поеду».

Я говорю:

«Отчего же не дома пить чай?»

«Нет, нет, нет, – отвечает, – что ты за домашний адвокат, я за заставу хочу и буду там ждать профессора: я с ним теперь об Арии совсем другой постанов вопроса сделаю».

«А как же, – говорю, – письмо подписать?»

А он меня – к черту.

Я даже заплакала, потому что как же быть? Все, что я претерпела, значит, хинью пошло. Начинаю его упрашивать, даже руку поцеловала, а он хоть бы что!

«Не задерживай, – говорит, – вот тебе рубль, иди в мелочную лавку, пускай за меня лавочник подпишет: они это действуют».

А сам меня вон из кареты пихает.

Я и высела и вошла в лавочку. Лавочник крестится, говорит: «Первая покупательница, господи благослови», – а подписать за Николая Ивановича не согласился. Говорит: «Конечно, это дело пустое, но мы нынче полиции опасаемся и даже чернил в лавке не держим». На мое счастье тут читальщик вбежал, покис-

лее квасу захотел напиться, и он мне совет дал вскочить в церковь к вынимальщику, который просвиры подписывает. Тот, говорит, подпишет. Он и подписал, да на что-то, глупец, ненужные слона прибавил: «Николай Степенев *и всех сродников их»*.

Я этого тогда, спасибо, и не досмотрела.

Довольно с меня, намучилась, сунула письмо за лиф и домой пришла, и все повеленье его степенства сестрам рассказала, начиная с Марьи Амуровны, но под клятвою, и говорю:

«Теперь сами думайте, что с ним делать».

Маргарита Михайловна, однако, еще и тут не решалась,– все держалась наклонения неопределенного, думала, что для нее довольно того будет, если она у него доверенность назад отберет.

«Но впрочем,– прибавила,– если Клавдинька не откажется от своей жизни и простоты и чтобы за реформатора замуж идти, то я согласна: поезжайте и просите».

Позвали Клавдиньку.

«Клавдия! может быть, ты ночью обдумалась и не будешь стоять на том, что тебе Фаштетов брат по мыслям, тогда скажи, мы Ма-

рью Мартыновну и не пошлем».

А та со всегдашнею своею ласковостью отвечает:

«Нет, мамочка, я не могу это отдумать: он честный и добрый человек, и я его потому люблю, что могу с ним согласно к одной цели жизни идти».

«Какая же это цель жизни вашей: чтобы не столько о себе, как о других заботиться?»

«Да, мама, чтобы заботиться не только о самих себе, но и о других».

«Это, значит, чужие крыши крыть».

Тогда Маргарита Михайловна обратилась ко мне и говорит:

«В таком разе, Марья Мартыновна, поезжайте».

Тут я в первый раз видела, как Клавдинька себе изменила.

Скрытница, скрытница, однако покраснела и твердо заговорила:

«Мама! Если вы эту непонятную посылку делаете для меня, то уверяю вас… это ни к чему не поведет».

«Ничего, ничего! Пусть это будет».

«Да ведь, родная, из этого ровно ничего не

выйдет!»

«Ну, это мы еще увидим. У людей польза была, и нам поможет. Поезжайте, Марья Мартыновна».

Клавдинька еще просить стала, чтобы оставить, но мать ответила:

«Наконец, что тебе за дело: я просто для себя желаю в выдающемся роде молиться! Надеюсь, я имею на это право?»

«Ну, как вам угодно, мама!» – ответила Клавдинька и ушла к себе своих лесных чертей лепить, а я отправилась творить волю пославшего и думала все здесь просто обхлопотать, вот как и ты теперь смело надеешься.

– Да вы про меня не беспокойтесь! – отозвалась Аичка. – Я смела и знаю, почему я могу быть смела: я капиталу не пожалею, так кого захочу, того к себе, куда вздумаю, туда в первом классе в купе и выпишу.

– Ну, я не знаю, сколько ты намерена не пожалеть, но, однако, и с капиталом иногда шиш съешь.

– Полноте, с капиталом-то… всякому можно сказать: «хабензи гевидел».

– Нет, как ототрут, так и не «гевидишь».

– Как же это меня от собственного моего капитала ототрут?

– Да, да, да! так и я тогда поехала, так и мне тогда все казалось очень легко.

– А отчего же тяжело-то сделалось?

– Оттого, что ни один человек на свете не может себе всего представить, что может быть при большой ажидации.

– Да вы это не закидывайте, чтобы услугу свою выставлять, а рассказывайте: что же такое было с вами самое выдающееся?

– «Хабензи» увидишь.

– Ну… послушайте… вы этак со мною не смейте… Я это не люблю.

– А отчего же?

– А оттого же, что вы моих шуток не повторяйте, а рассказывайте мне: как вы сюда приехали и что за этим начинается.

– Ну, начинаются басомпьеры.

– Вот и постойте: начинаются «басомпьеры» – что же это такое за басомпьеры?.. Вы, кажется, на меня дуетесь? так вы не дуйтесь и тоже и не говорите сердитым голосом: я ведь при своем капитале ничего не боюсь, и я вас не обидела, а баловать, кто у меня служит, я

не люблю. Говорите же, что же это такое басомпьеры?

– Люди так называемые.

– Вот и рассказывайте.

Бедная Марья Мартыновна вздохнула и, затаив в себе вздох наполовину, продолжала повествование.

VII

— Начались мои муки здесь, – заговорила снова Марья Мартыновна, – С первого же шага. Как я только высела и пошла, сейчас мне попался очень хороший человек извозчик – такой смирный, но речистый – очень хорошо говорил. И вот он видит, что мне здесь место незнакомое, кланяется и говорит:

«Пожелав вам всего хорошего, осмелюсь спросить: верно, нам нужно к певцу или в Ажидацию?»

Я даже не поняла и говорю:

«Что такое за певец, зачем мне к нему?»

«Он, – говорит, – все аккордом делает».

И это мне извозчик говорил очень полезное и хорошо, но я не поняла, что значит «аккорд», и отвечала:

«Мне нужно просто – где собирается ажидация».

Извозчик тихо говорит:

«Просто ничего не выйдет, а певец лучше вам устроит аккорд, так как он его сопровождающий и всегда у него при локте».

«Ну, – я говорю, – верно, это какой-нибудь

аферист, а я с такими не желаю и тебя слушать не намерена».

«Ну, садитесь, – говорит, – я вас за двугривенный свезу в Ажидацию».

И привез меня сюда честно, но мне и здесь как-то дико показалось. Внизу я тогда никого не застала, кроме мальчика, который с конвертов марки склеивает. Спросила его:

«Здесь ли ожидают?»

Он шепотом говорит: «Здесь».

«А где же старшие?»

Не знает. И все, о чем его ни спрошу, все он не знает: видать – школеный, ни в чем не проговорится.

«А зачем, – говорю, – столько марок собираешь? Это знаешь ли?»

Это знает.

«За это, – отвечает, – в Ерусалиме бутыль масла и цибик чаю дают».

Умный, думаю, мальчишка – какой хозяйственный, но все-таки, чем его детские речи здесь слушать, пойду-ка я лучше в храм, посмотрю, не там ли сбивают ажидацию, а кстати и боготворной иконе поклонюсь.

Около храма, вижу, кучка людей, должно

быть тоже с ажидацией, а какие-то люди еще всё подходят к ним и отходят, и шушукаются – ни дать ни взять, как пальтошники на панелях. Я сразу их так и приняла за пальтошников и подумала, что, может быть, и здесь с прохожих монументальные фотографии снимают, а после узнала, что это они-то и есть здешней породы басомпьеры. И между ними один ходит этакой аплетического сложения, и у него страшно выдающийся бугровый вос. Он подходит ко мне и с фоном спрашивает:

«По чьей рекомендации и где пристали?»

Я говорю:

«Это что за спрос! Тебе что за дело?»

А он отвечает:

«Конечно, это наше дело; мы все при нем от Моисея Картоныча».

«Брысь! Это еще кто такой Моисей Картоныч и что он значит?»

«Ага! – говорит, – а вам еще неизвестно, что он значит! Так узнайте: он в болоте на цаплиных яйцах сидит – живых журавлей выводит».

Я ему сказала, что мне это не интересно, и спросила: не знает ли он, где риндательша?

Он качнул головой на церковь.

«А скоро ли, – спрашиваю, – кончат вечерню?»

«У нас нонче не вечерня, а всенощная».

«Не может быть, – говорю, – завтра нет никакого выдающегося праздника».

«Да, это у вас нет, а у нас есть».

«Какой же у вас праздник?»

«А право, – говорит, – в точности не знаю: или семь спящих дев, или течение головы Потоковы».

«Ну, – говорю, – я вижу, что хотя вы и возле святыни чего-то ожидаете, а сами мерзавцы».

«Да, да, – отвечает, – а вам, пожелав всего хорошего, отходи, пока не выколочена».

Я больше и говорить не стала, вошла в храм и отстояла службу, но и тут все замечаю, будто шепчут аргенты, и напало на меня беспокойство, что непременно как сунутся к боготворной иконе, так у меня вытащат деньги. Вышла я и возвратилась сюда и поместилась вот точно так же здесь, только в маленькой-премаленькой комнатке, за два рубля, и увидала тут в коридоре самых разных людей и стала слушать. Один офицер из Ташкента

приехал и оттуда жену привез; так с нею ведь какое невообразимое несчастие сделалось: они по страшной жаре в тарантасе на верблюде ехали, а верблюд идет неплавно, все дергает, а она грудного ребенка кормила, и у нее от колтыханья в грудях из молока кумыс свертелся!.. Ребенок от этого кумыса умер, а она не хотела, его в песок закопать и получила через это род помешательства. И они, вот эти-то, желали, чтобы им завтра получить самое первое благословение и побольше денег. То есть, разумеется, не сама сумасшедшая этого добивалась, а ее муж. Этакой, правду сказать, с виду неприятный и с красными глазами, так около всех здешних и юлит, чтобы ему устроили получение, и всех подговаривает: «Старайтесь, – что бог даст – всё пополам». А его и слушать не хотят. Зачем делить пополам, когда всяк сам себе все рад получить! Ну, а я как денежного благословения у него себе просить не намерена, то по самолюбию своему и загордячилась – думаю: что мне такое? мне никто не нужен! Так все и надеялась своим бабским умом сама обхватить и достигнуть выдающейся цели своей ажидации; но в

ком сила содержится и что есть самое выдающееся, того и не поняла.

– А что же здесь самое выдающееся? – полюбопытствовала Аичка.

– Вот отгадай.

– Я не люблю отгадывать: впрочем, верно – благословение?

– То-то и есть: благословение, но какое? Всякий говорит «благословение», а что именно такое заключает в себе благословение, это не всякий понимает. Ты ведь священную историю небось учила?

– Учила, да уж все позабыла.

– Как это можно! все позабыть это немыслъмо.

– Ну вот, а я забыла.

– Ну, вспомни про Исава и Якова. Их бог еще в утробе не сравнил: одного возлюбил, а другого возненавидел.

Аичка рассмеялась.

– Чего же ты, милушка, смеешься?

– Да что вы какие пустяки врете!

– Нет, извини, это не пустяки.

– Да как же, разве я не понимаю… в утробе ребенок ничего не пьет и не ест, а только по-

теет. В чем же тут причина, за что можно их одного возлюбить, а одного возненавидеть? Это только мать может ненавидеть, которая стыдится тяжелой быть, а бог за что это?

– Ну, уж за что возненавидел бог – об этом ты не у меня, а у духовных спроси; но первое благословение всегда бывает самое выдающееся. Яков надел себе на руки овечьи паглинки и первое выдающееся благословение себе и сцапал, а Исаву осталось второе. Второе благословение – это уже не первое. В здешнем месте уж замечено, что самое выдающееся – это то, где его раньше получат. Там и исполнение будет и в деньгах и от вифлиемции, а что позже пойдет, то все будет слабее. «Сила его исходяще и совещающе».

– Вот это я помню, что об этом я где-то учила, – вставила Аичка.

– Нет, а я хотя об этом и не учила, а взяла да свою записку сверху других и положила, но риндательша меня оттолкнула и говорит: «Пожалуйста, здесь не распоряжайтесь». Однако он мое письмо прочитал и говорит:

«Вы сами, или нет, Степенева?»

«Никак нет, – говорю, – я простая женщи-

на».

Он перебил:

«Все простые, но ведь есть еще Ступины или Стукины».

«Нет, – отвечаю, – я не от тех, я от Степеневых. Дом выдающийся».

«Кто у них болен?»

«Никто, – отвечаю, – не болен: все, слава богу, здоровы».

«Так о чем же вы просите?»

Отвечаю:

«Я по их поручению: просят вас к себе и желают на добрые дела пожертвовать».

«Хорошо, – говорит, – я послезавтра буду, и ожидайте».

Я благословилась и с первым отходом еду назад с ажидацией. И на душе у меня такая победная радость, что никому я не кланялась и ничего не дала ни певцу, ни севцу, ни риндательше, а все так хорошо и легко обделала. Всем, кто вместе со мною возвращается, я как сорока болтаю: вот послезавтра он у нас первых будет, мне велел себя ждать с каретою. Расспрашивают: как моя счастливая фамилия? А я по своей простоте ничего дурного не

подозреваю и всем, как дура, откровенно говорю, что моя фамилия ничтожная, а счастливая фамилия – это выдающиеся купцы Степеневы. Тут еще спор вышел из-за того, что это – фамилия выдающаяся или не выдающаяся. Только один повар вступился:

«Я, – говорит, – знаю фруктовщиков Степеневых, так те выдающиеся: я через них у генерала места лишился за то, что они мне фальшивый сыр подвернули».

А другие пассажиры совсем будто никаких Степеневых не знают, а я им сдуру и пошла все расписывать – совсем и в понятии не имею, чтт из этого при человеческой подлости может выйти.

– А что же выйдет? – протянула Аичка.

– Ах, какой форт ангейль вышел! Вдруг на меня напал ташкентский офицер и начал кричать: «Замолчите вы, пустозвонка! мне вас скверно слушать, вы меня раздражаете! Я этому человеку в его святость совсем не верю: я вот к нему со своею больною двенадцать рублей проездил, а он мне всего десять рублей подал! Это подлость! Пьет из ушата, а цедит горсточкой; а его подлокотники в трубы

трубят и печатают. Это базар!»

Всё от его крика даже присмирели, потому что вид у него сделался очень жадный: жене он швырнул два баранка, как собачоночке, а сам ходит и во все стороны глаза мечет.

Люди тихо говорят: «Не отвечайте ему, – это петриот механику строит».

Но один лавочник его признал и пояснил:

«Никакой он, – говорит, – не петриот, а просто мошенник, и которую он несчастную женщину при себе за жену возит – она ему вовсе не жена, а с постоялого двора дурочка».

И точно, только что мы приехали и стали вылезать, к нему сейчас два городовых подошли и повели его в участок, потому что эту женщину родные разыскивают.

Повздыхали все: ах, ах, ах! какая низость! какой обман! И подивились, как он ничего этого не прозрел! А потом испугались. Да и где можно все это проникать в такой сутолоке! И рассыпались все по своим домам.

Приезжаю и я прямо к Маргарите Михайловне и говорю ей: «Креститесь и радуйтесь, бог милость послал. Послезавтра на нашей улице праздник будет, и вас счастье осенит: я

согласие получила, и утром мне надо ехать встречать его на ажидации».

Все тут обрадовались, и Маргарита Михайловна и Ефросинья Михайловна, и начали меня расспрашивать: узнала ли я, чем его принимать и просить. Я говорю: «я все узнала, но не надо ничего особенно выдающегося, кроме чаю с простой булкой и винограду; а если откушать согласится, то надо суп с потрохами».

«А может быть, какого-нибудь вина превосходного?»

«Вина, – говорю, – можно подать только превосходной мадеры, но, самое главное, вы сейчас разрешите, кто поедет его встречать на ажидацию: вы ли сами, или я, или Николай Иваныч, если он в своей памяти. По-моему, всех лучше Николай Иваныч, так как он мужчина и член в доме выдающийся. Только если он теперь опять не с буланцем».

Решили, что Николай Иваныч и я вдвоем поедем. Как-нибудь уж его на этот час уберечь можно. Оттуда Николай Иваныч пусть с ним вместе в карету усядется, а я назад на пролетках приеду.

На счастие наше, Николай Иваныч ввече-

ру явился в раскаянии и в забытьи: идет и сам впереди себя руками водит и бармутит:

«Дорогу, дорогу… идет глас выпивающий… уготовьте путь ему в пустыне… о господи!»

Да и застрял в углу и начал искать чего-то у себя по карманам.

Я подошла и говорю:

«Чего, опять вчерашнего дня небось ищете? Удаляйтесь скорей на покой».

А он отвечает:

«Подожди… тут у меня в кармане очень важный сужект был, и теперь нет его».

«Какой же сужект?»

«Да вот Твердамасков мне с Крутильды пробный портрет безбилье сделал, и я его хотел сберечь, чтоб никому не показать, да вот и потерял. Это мне неприятно, что его могут рассматривать. Я поеду его разыскивать».

«Ну уж, – говорю, – это нет. Попал домой – теперь типун, больше не уедешь, – и мы его на все два дня заперли, чтоб опомнился».

И спала я после этого у себя ночь, как в раю, и всё вокруг меня летали бесплотные ангелы – ликов не видно, а этак всё машут, всё машут!

– Какие же они сами? – полюбопытствовала Аичка.

– А вот похожи как певчие в форме, и в таких же халатиках. А как сон прошел и начался другой день, то начались опять и новые мучения. С самого раннего утра стали мы хлопотать, чтобы все к завтрему приготовить. И всё уже они без меня и ступить боятся: мы с Ефросиньюшкой вдвоем и в курятную потроха выбирать ходили, чтобы самые выдающиеся, и Николая Иваныча наблюдали, а на послезавтра, когда встрече быть, я сама до света встала и побежала к Мирону-кучеру, чтобы он закладывал карету как можно лучше.

А он у них престрашный грубиян и искусный ответчик и ни за что не любит женщин слушаться. Что ему ни скажи, на все у него колкий ответ готов:

«Я сам все формально знаю».

Я ему говорю:

«Теперь же нынче ты не груби, а хорошенько закладывай, нынче случай выдающийся».

А он отвечает:

«Ничего не выдающее. Мне все равно: за-

ложу как следно по форме, и кончено!»

Но еще больше я беспокоилась, чтобы без меня Клавдинька из дома не ушла или какую-нибудь другую свою трилюзию не исполнила, потому что все мы знали, что она безверная. Твержу Маргарите Михайловне:

«Смотри, мать, чтобы она не выкинула чего-нибудь выдающегося».

Маргарита Михайловна сказала ей:

«Ты же, Клавдюша, пожалуйста, нынче куда-нибудь не уйди».

Она отвечает:

«Полноте, мама, зачем же я буду уходить, если это вам неприятно».

«Да ведь ты ни во что не веришь?»

«Кто это вам, мамочка, такие нелепости наговорил, и зачем вы им верите!»

А та обрадовалась:

«Нет, в самом деле ты во что-нибудь веруешь?»

«Конечно, мама, верую».

«Во что же ты веруешь?»

«Что есть бог, и что на земле жил Иисус Христос, и что должно жить так, как учит его Евангелие».

«Ты это истинно веришь – не лжешь?»

«Я никогда не лгу, мама».

«А побожись!»

«Я, мама, не божусь; Евангелие ведь не позволяет божиться».

Я вмешалась и говорю:

«Отчего же не побожиться для спокойствия матери?»

Она мне ни слова; а та ее уже целует с радости и твердит:

«Она никогда не лжет, я ей и так верю, а это вот вы все хотите, чтобы я ей не верила».

«Что вы, что вы! – говорю я, – во что вы хотите, я во все верю!»

А сама думаю: вот при нем вся ее вера на поверке окажется. А теперь с ней разводов разводить нечего, и я бросилась опять к Мирону посмотреть, как он запрягает, а он уже запрег и подает, но сам в простом армяке.

Я зашумела:

«Что же ты не надел армяк с выпухолью?»

А он отвечает:

«Садись, садись, не твое дело: выпухоль только зимой полагается».

Вижу его, что он злой-презлой.

Николай Иваныч сел смирно со мною в карету, а две дамы дома остались, чтобы нас встретить, а между тем с нами начались такие выдающиеся приключения, что превзошли, всё, что было у Исава с Яковом.

– Что же это случилось? – воскликнула Аичка.

– Отхватили у нас самое выдающееся первое благословение.

– Каким же это манером?

– А вот это и есть Моисей Картоныч!

VIII

Приехали мы с Николаем Иванычем в карете – он со всеми принадлежностями, с кититорской медалью на шее и с иностранным орденом за шахово подношение, а я одета по обыкновению, как следует, скромно, ничего выдающегося, но чисто и пристойно. А народу совокупилась непроходимая куча, и стоит несколько карет с ажидацией, и на простых лошадях и на стриженых, – на козлах брумы с хлопальными арапниками, и полицейские со всеми в рубкопашню бросаются – хотят всех по ранжиру ставить, но не могут.

Помощник пристава тут же, как встрепанный воробей, подпрыгивает и уговаривает публику:

«Господа! не безобразьте!.. все увидите. Для чего невоспитанность!»

Я думаю, вот этот образованный! и подхожу к нему и прошу, чтобы велел нашу карету впереди других поставить, потому что нам назначена первая ажидация; но он хоть бы что!.. на все мои убедительные слова и внимания не обратил, а только все топорщится

воробьем и твердит: «Что за изверги христианства! Что за свинская невоспитанность!» А я вдруг замечаю, что здесь же в толпучке собрались все мои третьеводнишние знакомые, с которыми я назад ехала, и особенно та благочестивая старушка, у которой весь дом от вифлиемции болен, и я ей все рассказывала.

«Вот и вы, – говорит, – здесь?»

«Как же, – отвечаю я, – здесь; к нам ведь к первым обещано».

«Вы ведь от Степеневых, кажется?»

«Да, – отвечаю, – я от Степеневых, – в их карете, – Мирон-кучер».

«Ах! – говорит, – Мирон-кучер...»

А тут весь народ вдруг вздрогнул, и стали креститься, и уж как попрут, то уж никто друг друга и жалеть не стал, но все как дикий табун толпучкою один другого задавить хотят... Раздался такой стон и писк, что просто сказать, как будто бы все люди озверели и друг друга задушить хотят!

Помощник уж не может и кричать больше, а только стонет: «Что за изверги христианства! Что за скоты без разума и без жалости!» А городовые пустились было в рубко-

пашную, но вдруг протиснулись откуда-то эти тамошние бургонские рожи – эти басомпьеры, – те, которые про спящих дев говорили, – и враз смяли всех – и городовых и ожидателей! Так и смяли! Обхватили его, и прут прямо к каким знают каретам, и кричат: «Сюда, сюда!» – и даже, я слышу, Степеневых называют, а меж тем в чью-то не в нашу карету его усадили и повезли.

Я стала кричать:

«Позвольте! ведь это немыслъмо – это… не от Степеневых карета… у нас Мирон-кучер называется!»

А меж тем его обманом усадили в другую карету, с той самой старушкой, с моей-то с благочестивой попутчицей, у которой все в вифлиемции, и увезли к ней!

Аичка вмешалась и сказала:

– Что же – это так и следовало.

– Почему?

– У нее больные, а у вас нет.

Мартыновна не стала спорить и продолжала:

– Я к помощнику, говорю:

«Помилуйте, господин полковник, что же

это за беспорядок!»

А он еще на меня:

«Вам, – говорит, – еще что такое сделали? Язычница! вы больше всех лезли. Что вам на любимую мозоль, что ли, кто наступил? Вот аптека, купите себе пластырю».

«Не в аптеке, – говорю, – дело, а в том, что мне была назначена первая ажидация, а ее нет».

«Чего же вы ее не ухватили – ажидацию-то?»

«Я бы ухватила, а от полиции порядка не было – вы видели, что мне и подойти было немыслимо, у меня выхватили...»

«Что у вас выхватили?»

«Отсунули меня...»

«А у вас ничего не украдено?»

«Нет, не украдено, а сделан обман ажидации».

А он на это рукою махнул.

«Экая важность! – говорит, – это и часто бывает».

И больше никакого внимания.

«Ну вас, – говорит, – совсем, отстаньте».

Я к Николаю Иванычу, который в карете

уселся, и говорю ему:

«Что же здесь будем стоять, надо за ними резво гнаться и взять хоть со второй ажидации».

Он отвечает, что ему все равно, а Мирошка сейчас же спорить:

«Гнаться, – говорит, – нельзя».

«Да ведь вот еще их видно на мосту. Поезжай за ними, и ты их сейчас догонишь».

«Мне нельзя гнаться».

«Отчего это нельзя? Ты ведь всегдашний грубец и искусный ответчик».

«То-то и есть, – говорит, – что я ответчик: я и буду в ответе; ты будешь в карете сидеть, а меня за это формально с козел снимут да в полиции за клин посадят. Во всю мочь гнать не позволено».

«Отчего же за ними вон в чьей-то карете как резво едут?»

«Оттого, что там лошади не такие».

«Ну, а наши какие? Чем хуже?»

«Не хуже, а те – аглицкие тарабахи, а наши – тамбовские фетюки: это разница!»

«Да уж ты известный ответчик, на все ответишь, а просто их кучер лучше умеет пра-

вить».

«Отчего же ему не уметь править, когда ему их экономка при всех здесь целый флакон вишневой пунцовки дала выпить, а мне дома даже пеклеванник с чаем не дали допить».

«Ступай и ты так поспешно, как он, тогда и я тебе дома цельную бутылку пунцовки дам».

«Ну, – говорит, – в таком разе формально садись скорей».

Села я опять в карету, и погнали. Мирон поспевает: куда они на тарабахах, туда и мы на своих фетюках, не отстаем; но чуть я в окно выгляну – всё мне кажется, будто все кареты, которые едут, – это всё с ажидацией. Семь карет я насчитала, а в восьмой увидала – две дамы сидят, и закричала им:

«Отстаньте, пожалуйста, – это моя ажидация!»

А Николай Иванович вдруг рванул меня сзади изо всей силы, чтобы я села, и давленным, злым голосом шипит:

«Не смейте так орать! мне стыдно!»

Я говорю:

«Помилуйте! какой с бесстыжей толпуч-

кой стыд!»

А он отвечает:

«Это не толпучка, а моя знакомая блондинка; она мне может через одно лицо самый неприятный постанов вопроса сделать».

И опять так меня рванул, что платье затрещало, и я его с сердцов по руке, а по дверцам локтем, да и вышибла стекло так, что оно зазвонило вдребезги.

К нам сейчас подскочил городовой и говорит:

«Позвольте узнать, что за насилие? О чем эта дама шумят?»

Николай Иваныч, спасибо, ловко нашелся:

«Оставь, – говорит, – нас: эта дама не в своем уме, я ее везу в сумасшедший дом на свидетельство».

Городовой говорит:

«В таком разе проследуйте!»

Опять погнались, но тут как раз впоперек погребальный процесс: как назло, какого-то полкового мертвеца с парадом хоронить везут, – духовенства много выступает – все по парам друг за другом, в линию, архирей позади, а потом гроб везут; солдаты протяжно та-

щатся, и две пушки всем вслед волокут, точно всей публике хотят расстрел сделать, а потом уж карет и конца нет, и по большей части все пустые. Ну, пока всё это перед своими глазами пропустили, он, конечно, уехал, и тарабахи скрылись.

Поехали опять, да не знаем, куда ехать; но тут, спасибо, откуда-то взялся человек и говорит:

«Прикажите мне с кучером на козлы сесть – я сопоследователь и знаю, где первая ажидация».

Дали ему рубль, он сел и поехал, но куда едем – опять не понимаю. Степеневых дом в Ямской слободе, а мы приехали на хлебную пристань, и тут действительно оказалась толпучка народу, собралась и стоит на ажидации... Смотреть даже ужасти, сколько людей! А самого-то его уже и не видать, как высел, – и говорят, что насилу в дом проводили от ожидателей. Теперь за ним и двери заключили, и два городовых не пущают, а которые затрубят, тех пожмут и отводят.

Но однако, впрочем, все ожидатели ведут себя хорошо, ждут и о разных его чудесах раз-

говаривают – где что им сделано, а всё больше о выигрышах и о вифлиемции; а у меня мой сударь Николай Иваныч вдруг взбеленился.

«Что мне, – говорит, – тут с вами, ханжами, стоять! У меня вифлиемции нет, а еще, пожалуй, опять за банкрута сочтут!.. Я не хочу больше здесь с вами тереться и ждать. Оставайся здесь и жди с каретою, а я лучше хоть на простой конке на волю уеду».

Я уговариваю:

«У бога, – говорю, – все равны. Ведь эта ажидация для бога. Если хотите что-либо выдающееся сподобиться, то надо терпеливо ждать».

Кое-как он насилу согласился один час подождать и на часы отметил.

Час этот, который мы тут проманежились, я весь язык свой отбила, чтобы Николая Иваныча уговаривать, и за этими разговорами не заметила, что уже сделался выход из подъезда, и его опять в ту же самую секунду в другую карету запихнули и помчали на другую ажидацию. Боже мой! второе такое коварство! Как это снесть! Мы опять за ними сле-

дом, и опять нам в третий раз та же самая удача, потому что Николай Иваныч с орденами и со всеми своими принадлежностями нейдет на вид, а прячется, а меня в моем простом виде все прочь оттирают.

А в конце концов Николай Иваныч говорит:

«Ну, уж теперь типун! я не намерен больше позади всех в свите следовать. Ты сиди здесь и езди, а я не хочу».

И с этим все свои принадлежности снимает и в карман прячет.

Я говорю:

«Помилуйте, как же я одна останусь?.. Это немыслъмо...»

А он вдруг дерзкий стал и отвечает:

«А вот ты и размышляй о том, что мыслимо, а что немыслимо, а я в трактире хоть водки выпью и закушу миногой».

«Так вот, – говорю, – и подождите же, богу помолитесь натощак, а тогда кушайте; там все уже приготовлено, не только миноги, а и всякая рыба, и потроха выдающиеся, и прочие принадлежности».

Он меня даже к черту послал.

«Очень мне нужно! – говорит. – Не видал я, поди, твои потроха выдающиеся!» – и вместо того, чтобы забежать в трактир, сел на извозчика, да и совсем уехал.

Тут я даже заплакала. Много я в моей жизни низостей от людей видела, но этакой выдающейся подлости, чтобы так и силом оттирать, и обманно чужим именем к себе завлекать, и, запихнувши в карету, увозить – этого я еще и не воображала.

В отчаянии рассказала это другим, как это сделано, а другие и не удивляются, говорят:

«Вы не огорчайтесь, это с ним так часто делают».

А как только он вышел, так смотрю – эти же самые, которые так хорошо говорили, сами же в моих глазах, как тигры, рванулись и в четвертый раз подхватили его, запихнули в карету и повезли.

Я просто залилась слезами и кричу Мирошке:

«Мирон, батюшка, да имей же хоть ты бога в сердце своем, бей ты своих фетюков без жалости, чтобы мне хоть на пятую ажидацию шибче всех подскочить, и не давай другим хо-

ду! Я тебе две пунцовки дам».

Мирон отвечает: «Хорошо! Формально дам ходу!» И так нахлестал фетюков во всю силу, что они понеслись шибче тарабахов, и в одном месте старушонку с ног сшибли, да скорей в сторону, да боковым переулком – опять догнали, и как передняя карета стала подворачивать, Мирон ей наперерез и что-то враз им и обломал... Так зацепил, что чужая карета набок, а наша только завизжала.

Кучера стали ругаться.

Городовые наших лошадей сгребли под уздицы и Миронов адрес стали записывать.

А он уж опять выходит, но тут я скорей дверцы настежь и прямо к нему.

«Так и так, – говорю, – что же вы изволили нам обещать к купцам Степеневым... Они люди выдающиеся, и с самого утра у них всеобщая ажидация».

А он на меня смотрит, как голубок в усталости или в большом изумлении, и говорит:

«Ну так что ж такое? Ведь я уже сегодня у Степеневых был».

«Когда же? – говорю. – Помилуйте! Нет, вы еще не были».

Он вынул книжку, поглядел и удостоверяется:

«Степеневы?»

«Да-с».

«Купцы?»

«Выдающиеся купцы».

«Да, вот они... выдающиеся... Они у меня и зачеркнуты... В книжечке их имя зачеркнуто. Значит, я у Степеневых был».

«Нет, – говорю, – помилуйте. Это немыслимо. Я от вас ни на минуту не отстаю с самого утра».

«Да я у самых первых у Степеневых был. И семейство помню: старушка такал в темном платочке меня к ним возила».

Я догадалась, кто эта старушка} Это та, перед которой я о выдающейся фамилии Степеневых говорила.

«Это, – говорю, – обман подведен; она не от Степеневых, Степеневы совсем не там и живут, где вы были»

Он только плечом воздвигнул и говорит:

«Ну что ж теперь делать! Теперь еще подождите; здесь справлюсь и с вами поеду».

Я опять осталась ждать на шестую ажида-

цию, и тут я только поняла, какие бывают на свете народы, как эти басомпьеры! Их совокупившись целая артель и со старостой, который надо мною про семь спящих дев-то ухмылялся, – это он и есть, аплетического сложения, с выдающимся носом. Бродяжки они, гольтепа, работать не охотники, и нашли такое занятие, что подсматривают... и вдруг скучатся толпучкой, и никому сквозь их не пролезть... Если им дашь – они к той карете так его и насунут, а не дашь – станут отодвигать... и...

– Типун! – пошутила Аичка.

– Типун. Мне уж после старушка одна рассказала:

«Полно тебе, говорит, дурочкой-то вослед ездить. Неужли не видишь – в ком сила! Подзови мужчину в зеленой чуйке да дай ему за труды – он его к тебе враз натиснет. Они ведь с этого только кормятся».

Я подманила этого промыслителя и дала ему гривенник, но он малый смирный – недоволен моей гривной, а просит рубль. Дала рубль – он к нашей карете ход и открыл, понапер, понапер и впихнул его в самые дверцы

и крикнул:

«С богом!»

Получила и везу.

IX

Я было хотела отдельно от него ехать, как недостойная, но он, препростой такой, сам пригласил:

«Садитесь, – говорит, – вместе, ничего».

Простой-препростой, а лицо выдающееся.

Слушательница Марьи Мартыновны перебила ее и спросила:

– Чем же его лицо выдающееся? И мне, признаться, очень любопытно было это услышать, но рассказчица уклонилась от ответа и сказала:

– Вот завтра сама увидишь, – и затем продолжала: – Я села на переднем сиденье и смотрю на него. Вижу, устал совершенно. Зевает голубчик и все из кармана письма достает. Много, премного у него в кармане писем, и он их всё вынимает и раскладывает себе на колени, а деньги сомнет этак, как видно, что они ему ничего не стоящие, и равнодушно в карман спущает и не считает, потому что он ведь из них ничего себе не берет.

– Почем вы это знаете? – протянула Аичка.

– Ах, мой друг, да в этом даже и сомневать-

ся грешно, за это и бог накажет.

– Я и не сомневаюсь, а только я любопытствую – у него, говорят, крали – кто ж это знает?

– Не думаю… не слышала.

– А я слышала.

– Что же, он, верно, свои доложил.

– То-то.

– Да ведь это видно. Его и не занимает… Распечатает, прочитает, а деньги в карман опустит и карандашом отметит, и опять новое письмо распечатает, а между тем и шутит препросто.

– О чем же, например, шутит?

– Да вот, например, спрашивает меня: «Что же это значит? я у Степеневых, значит, еще не был?»

«Наверно, – говорю, – не были».

Он головой покачал, улыбнулся и смеется:

«А может быть, вы меня туда во второй раз везете?»

«Помилуйте, – говорю, – это немыслемо».

«С вами, – отвечает, – все мыслъмо».

Потом опять читал, читал и опять говорит:

«А у кого же это, однако, я был вместо Сте-

пеневых? Вот я теперь через это замешательство не знаю, кого мне теперь в своей книжке и вычеркнуть».

Я понимаю, что ему досадно, но не знаю, что и сказать.

Аичка перебила:

– Как же он такой святой, а ничего не видит, что с ним делают!

– Ну, видишь, он полагал так, что Степеневы – это те первые, у которых он был по обману, и они его о сыне просили, что сын у них ужасный грубиян – познакомился с легкомысленною женщиной и жениться хочет, а о других невестах хорошего рода и слышать не хочет.

– Отчего же так? – спросила Аичка.

– Долг, видишь, обязанность чувствует воздержать ее в степенной жизни.

– Просто небось в красоту влюбился.

– Разумеется… Что-нибудь выдающееся… Но я опять к своему обороту; говорю, что у настоящих Степеневых сына выдающегося нет…

«А невыдающийся что же такое делает?»

Я отвечаю, что у них и невыдающегося тоже нет.

«Значит, совсем нет сына?»

«Совсем нет».

«Так зачем же вы путаете: „выдающегося“, „невыдающегося“?»

«Это, извините, у меня такая поговорка. А у Степеневых не сын, а дочь, и вот с ней горе».

Он головой, уставши, покачал и спросил:

«А какое горе?»

«А такое горе, что она всему капиталу наследница, и молодая и очень красивая, но ни за что как следует жить не хочет».

Он вдруг вслушался и что-то вспомнил. «Степеневы… – говорит. – Позвольте, ведь это именно их брат Ступин?»

Я не поняла, и он затруднился.

«Ведь мы это теперь к Ступиным?»

«Нет, к Степеневым: Ступины – это особливые, а Степеневы – особливые; вот их и дом и на воротах сигнал: „купцов Степеневых“».

Он остро посмотрел, как будто от забытья прокинулся, и спрашивает: «Для чего сигнал?» «Надпись, чей дом обозначено». «Ах да, вижу, надпись».

И вдруг все остальные нераспечатанные конверты собрал и в нутреной карман сунул

и стал выходить у подъезда.

А народу на ажидацию у нашего подъезда собралось видимо и невидимо. Всю улицу запрудили толпучкой, к еще за нами следом четыре кареты подъехали с ажидацией.

Мы за ним двери в подъезде сильно захлопнули, и тут случилась большая досада: одной офицерше, которая в дом насильно пролезть хотела, молодец два пальца на руке так прищемил, что с ней даже сделалось вроде обморока.

А только что это уладили, полицейский звонится, чтобы Мирона за задавление старухи и за полум чужого экипажа в участок брать протокол писать. Мы скорей спрятали Мирона в буфетную комнату, и я ему свое обещанье – пунцовку – дала, а внутри в доме ожидало еще больше выдающееся.

X

Он вошел, разумеется, чудесно, как честь честью, и оказал: «Мир всем», и всех благословил, и хозяйку Маргариту Михайловну, и сестру ее Ефросинью Михайловну, и слуг старших, а как коснулось до Николая Иваныча, то оказывается, что его, милостивейшего государя, и дома нет. Тогда маменька с тетенькой бросились к Клавдичке, а Клавдичка хоть и дома, но, изволите видеть, к службе выходить не намерена.

Он спрашивает:

«Дочка ваша где?»

А бедная Маргарита Михайловна, вся в стыде, отвечает:

«Она дома, она сейчас!»

А чего «сейчас», когда та и не думает выходить!

Раньше этого была с матерью ласкова и обнимала ее и ни слова не сказала, что не выйдет, а тут, когда мы уже приехали и мать к ней вне себя вскочила и стала говорить:

«Едет, едет!»

Клавдичка ей преспокойно отвечает:

«Ну вот, мама, и прекрасно; я за вас теперь рада, что вам удовольствие».

«Так выйди же его встречать и подойди к нему!»

Но она тихую улыбку сделала, а этого исполнить не захотела.

Мать говорит:

«Значит, ты хочешь сделать мне неприятность?»

«Вовсе нет, мама, я очень рада за вас, что вы хотели его видеть и это ваше удовольствие исполняется».

«А тебе, стало быть, это не удовольствие?»

«Мне, мамочка, все равно».

«А как же ты говорила, что и ты в бога веришь?»

«Конечно, мама, верю, и мне, кроме его, никого и не надобно».

«А исполнять по вере, стало быть, тебе ничего и не надобно?»

«Я, мамочка, исполняю».

«Что же ты исполняешь?»

«Всем повеленное: есть хлеб свой в поте лица и никому зла не делать».

«Ах, вот в чем теперь твоя вера? Так знай

же, что ты мне большое зло делаешь».

«Какое?.. Что вы, мама!.. Ну, простите меня».

«Нет, нет! Ты меня срамишь на весь наш род и на весь город. В малярихи или в прачки ты, что ли, себя готовишь? Что ты это на себя напустила?»

А та стоит да глинку мнет.

«Брось сейчас твое лепленье!»

«Да зачем это вам, мама?»

«Брось! сейчас брось! и сними свой фартук и выйди со мною, а то я с тебя насильно фартук сорву и всю твою эту глиномятную антиллерию на пол сброшу и ногами растопчу!»

«Мамочка, – отвечает, – все, что вам угодно, но выходить я не могу».

«Отчего?»

«Оттого, что я почитаю, что все это не следует».

Тут мать уже не выдержала и – чего у них никогда не было – бранным словом ее назвала:

«Сволочь!.. гадина!»

А дочь ей с ласковым укором отвечает:

«Мамочка! мама!.. вы после жалеть буде-

те».

«Выходи сейчас!»

«Не могу».

«Не можешь?»

«Не могу, мама».

А та – хлоп ее фигуру на пол и начала ее каблуками топтать. А как дочь ее захотела было обнять и успокоить, то Маргарита-то Михайловна до того вспылила, что прямо ее в лицо и ударила.

– Эту статую? – спросила Аичка.

– Нет, друг мой, саму Клавдиньку. «Не превозносись!» Клавдинька-то так и ахнула и обеими руками за свое лицо схватилась и зашаталась.

– За руки бы ее! – заметила Аичка.

– Нет, она этого не сделала, а стала просить только:

«Мамочка! Пожалейте себя! Это ужасно, ведь вы женщина! Вы никогда еще такой не были».

А Маргарита Михайловна задыхается и говорит:

«Да, я никогда такой не была, а теперь вышла. Это ты меня довела... до этого. И с этой

поры... ты мне не дочь: я тебя проклинаю и в комиссию прошение пошлю, чтобы тебя в неисправимое заведение отдать».

И вот в этаком-то положении, в таком-то расстройстве, сейчас после такого представления – к нему на встречу!.. и можешь ли ты себе это вообразить, какое выдающееся стенание!

Он, кажется, ничего не заметил, что к нему не все вышли, и стал перед образами молебен читать, – он ведь не поет, а все от себя прочитывает, – но мы никто и не молимся, а только переглядываемся. Мать взглянет на сестру и вид дает, чтобы та еще пошла и Клавдиньку вывела, а Ефросинья сходит да обратный вид подает, что «не идет».

И во второй раз Ефросинья Михайловна пошла, а мать опять все за ней на дверь смотрит. И во второй раз дверь отворяется, и опять Ефросинья Михайловна входит одна и опять подает мину, что «не идет».

А мать мину делает: отчего?

Маргарита Михайловна мне мину дает: иди, дескать, ты уговори.

Я – мину, что это немыслъмо!

А она глазами: «пожалуйста», и на свое платье показывает: дескать, платье подарю.

Я пошла.

Вхожу, а Клавдинька собирает глиняные оскребки своего статуя, которого мать сшибла.

Я говорю:

«Клавдия Родионовна, бросьте свои трелюзии – утешьте мамашу-то, выйдите, пожалуйста».

А она мне это же мое последнее слово и отвечает:

«Выйдите, пожалуйста!»

Я говорю:

«Жестокое в вас сердце какое! Чужих вам жаль, а мать ничего не стоит утешить, и вы не можете. Ведь это же можно сделать и без всякой без веры».

– Разумеется, – поддержала Аичка.

– Ну, конечно! Господи, ведь не во все же веришь, о чем утверждают духовные, но не препятствуешь им, чтобы другие им верили.

Но только что я ей эту назидацию провела, она мне повелевает:

«Выйдите!»

«А за что?»

«За то, говорит, что вы – воплощенная ложь и учите меня лгать и притворяться. Я не могу вас выносить: вы мне гадкое говорите».

Я вернулась и как только начала объяснять миною все, что было, то и не заметила, что он уже читать перестал и подошел к жардинверке, сломал с одного цветка веточку и этой веточкой стал водой брызгать. И сам всех благодарит и поздравляет, а ничего не поет. Все у него как-то особенно выдающееся.

«Благодарю вас, – говорит, – что вы со мной помолились. Но где же ваши прочие семейные?»

Вот и опять лгать надо о Николае Ивановиче, и солгали, сказали, что его к графу в комиссию потребовали.

«А дочь ваша, где она?»

Ну, тут уже Маргарита Михайловна не выдержала и молча заплакала.

Он понял и ее, как ангел, обласкал, и говорит:

«Не огорчайтесь, не огорчайтесь! В молодости много необдуманного случается, но потом увидят свою пользу и оставят».

Старуха говорит:

«Дай бог! Дай бог!»

А он успокаивает ее:

«Молитесь, верьте и надейтесь, и она будет такая ж, как все».

А та опять:

«Дай бог».

«И даст Бог! По вере вашей и будет вам. А теперь, если она не хочет к нам выйти, то не могу ли я к ней взойти?»

Маргарита Михайловна, услыхав это, от благодарности ему даже в ноги упала, а он ее поднимает и говорит:

«Что вы, что вы!.. Поклоняться одному Богу прилично, а я человек».

А я и Ефросинья Михайловна тою минутою бросились обе в Клавдинькину комнату и говорим:

«Скорее, скорее!.. ты не хотела к нему выйти, так он теперь сам к тебе желает придти».

«Ну так что же такое?» – отвечает спокойно.

«Он тебя спрашивает, согласна ли ты его принять?»

Клавдинька отвечает:

«Это дом мамашин; в ее доме всякий может идти, куда ей угодно».

Я бегу и говорю:

«Пожалуйте».

А он мне ласково на ответ улыбнулся, а Маргарите Михайловне говорит:

«Я вам говорю, не сокрушайтесь; я чудес не творю, но если чудо нужно, то всегда чудеса были, и есть, и будут. Проводите меня к ней и на минуту нас оставьте, мы с ней должны говорить в одном вездеприсутствии Божием».

«Конечно, боже мой! разве мы этого не понимаем! Только помоги, господи!»

– Ну, я бы не вытерпела, – сказала Аичка, – я бы подслушала.

– А ты погоди, не забегай.

XI

Мы его в Клавдинькину дверь впустили, а сами скорее обежали вокруг через столовую, откуда к ней в комнату окно есть над дверью, и вдвоем с Ефросиньей Михайловной на стол влезли, а Маргарита Михайловна, как грузная, на стол лезть побоялась, а только к дверному створу ухо присунула слушать.

Он, как вошел, сейчас же положил ей свою руку на темя и сказал по-духовному:

«Здравствуй, дочь моя!»

А она его руку своею рукою взяла да тихонько с головы и свела и просто пожала, и отвечает ему:

«Здравствуйте».

Он не обиделся и начал с ней дальше хладнокровно на «вы» говорить.

«Могу ли я у вас сесть и побеседовать?»

Она отвечает:

«Если вам это угодно, садитесь, только не запачкайтесь: на вас одежда шелковая, а здесь есть глина».

Он посмотрел на стул и сел, и не заметил, как рукавом это ее маленькое евангельице

нечаянно столкнул, а без всякого множественного разговора прямо спросил ее:

«Вы леплением занимаетесь?»

Она отвечает:

«Да, леплю».

«Конечно, вы это делаете не по нужде, а по желанию?»

«Да, и по желанию и по нужде».

Он на нее посмотрел выразительно.

«По какой же нужде?»

«Всякий человек имеет нужду трудиться; это его назначение, и в этом для него польза».

«Да, если это не для моды, то хорошо».

А она отвечает:

«Если кто и для моды стал заниматься трудом вместо того, что прежде ничего не делал, то и это тоже не плохо».

Понимаешь, вдруг сделала такой оборот, как будто не он, а она ему будет давать назидацию. Но он ее стал строже спрашивать:

«Мне кажется, вы слабы и нездоровы?»

«Нет, – говорит она, – я совершенно здорова».

«Вы, говорят, мясо не едите?»

«Да, не ем».

«А отчего?»

«Мне не нравится».

«Вам вкус не нравится?»

«И вкус, и просто я не люблю видеть перед собою трупы».

Он и удивился.

«Какие, – спрашивает, – трупы?»

Она отвечает:

«Трупы птиц и животных. Кушанья, которые ставят на стол, ведь это всё из их трупов».

«Как! это жаркое или соус – это трупы! Какое пустомыслие! И вы дали обет соблюдать это во всю жизнь?»

«Я не даю никаких обетов».

«Животных, – говорит, – показано употреблять в пищу».

А она отвечает:

«Это до меня не касается».

Он говорит:

«Стало быть, вы и больному не дадите мяса?»

«Отчего же, если ему это нужно, я ему дам».

«Так что же?»

«Ничего».

«А кто вас этому научил?»

«Никто».

«Однако как же вам это пришло в голову?»

«Вас это разве интересует?»

«Очень! потому что эта глупость теперь у-многих, распространяется, и мы ее должны знать».

«В таком разе я вам скажу, как ко мне пришла эта глупость».

«Пожалуйста!»

«Мы жили в деревне с няней, и некому было зарезать цыплят, и мы их не зарезали, и жили, и цыплята жили, и я их кормила, и я увидала, что можно жить, никого не резавши, и мне это понравилось».

«А если б в это время к вам приехал больной человек, для которого надо зарезать цыпленка?»

«Я думаю, что для больного человека я бы цыпленка зарезала».

«Даже сама!»

«Да – даже сама».

«Своими, вот этими, нежными руками!»

«Да – этими руками».

Он воздвиг плечами и говорит:

«Это ужас, какая у вас непоследовательность!»

А она отвечает, что для спасения человека можно сделать и непоследовательность.

«Просто мракобесие! Вы, может быть, и собственности не хотите иметь?»

«При каких обстоятельствах?»

«Это все равно».

«Нет, не равно; если у меня два платья, когда у другой нет ни одного, то я тогда не хочу иметь два платья в моей собственности».

«Вот как!»

«Да ведь это так же и следует, это так и указано!»

И с этим ручку изволит протягивать к тому месту, где у нее всегда ее маленькое евангельице лежит, а его тут и нет, потому что он его нечаянно смахнул, и теперь он ее сам остановил, – говорит:

«Напрасно будем об этом говорить».

«Отчего же?»

«Оттого, что вы только к тому всё и клоните, чтобы доказывать, что прямое криво».

«А мне кажется, как будто вы всё только хотите доказать, что кривое прямо!»

«Это, – говорит, – все мракобесие в вас, оттого что вы не несете в семействе своих обязанностей. Отчего вы до сих пор еще девушка?»

«Оттого, что я не замужем».

«А почему?»

Она на него воззрилась:

«Как это почему? Потому что у меня нет мужа».

«Но вы, быть может, и брак отвергаете?»

«Нет, не отвергаю».

«Вы признаете, что самое главное призвание женщины жить для своей семьи?»

Она отвечает:

«Нет, я иного мнения».

«Какое же ваше мнение?»

«Я думаю, что выйти замуж за достойного человека – очень хорошо, а остаться девушкою и жить для блага других – еще лучше, чем выйти замуж».

«Почему же это?»

«Для чего же вы меня об этом спрашиваете? Вы, наверно, сами это знаете: кто женится, тот будет нести заботы, чтобы угодить семье, а кто один, тот может иметь заботы ши-

ре и выше, чем о своей семье».

«Ведь это фраза».

«Как, – говорит, – фраза!» – и опять руку к столику, а он ее опять остановил и говорит:

«Не трудитесь доказывать: я знаю, где что сказано, но все же надо уметь понимать: род человеческий должен умножаться для исполнения своего назначения».

«Ну, так что же такое?»

«И должны рождаться дети».

«И рождаются дети».

«И надо, чтобы их кто-нибудь любил и воспитывал».

«Вот, вот! это необходимо!»

«А любить дитя и пещись о его благе дано одному только сердцу матери».

«Совсем нет».

«А кому же?»

«Всякому сердцу, в котором есть любовь божия».

«Вы заблуждаетесь: никакое стороннее сердце не может заменить ребенку сердце матери».

«Совсем нет; это очень трудно, но это возможно».

«Но ведь заботиться об общем благе можно и в браке».

«Да, но это еще труднее, чем не вступать в брак».

«Итак, у вас нет ничего жизнерадостного».

«Нет, есть».

«Что же такое?»

«Приучаться жить не для себя».

«В таком случае вам всего лучше идти в монастырь».

«Для чего же это?»

«Там уж это все приноровлено к тому, чтобы жить не для себя».

«Я совсем не нахожу, чтобы там это тбк было приноровлено».

«А вы разве знаете, как живут в монастырях?»

«Знаю».

«Где же вы наблюдали монастырскую жизнь?»

А она уже его перебивает и говорит:

«Извините меня... разве не довольно, что я вам отвечаю на все, о чем вы меня допрашиваете обо мне самой, но я не имею обыкновения ничего рассказывать ни о ком другом», –

и сама берется при нем мять свою глину, как бы его тут и не было.

– Ишь какая, однако же, она шустрая! – заметила Аичка.

– Да чем, мой друг?

– Ну все, однако, как хотите – этак отвечать может, и он ее не срежет.

– Ну, нет… он ее срезал, и очень срезал!

– Как же именно?

– Он ей сказал: «Неужто вы так обольщены, что вам кажется, будто вы лучше всех понимаете о Боге?» А она на это отвечать не могла и созналась, что: «я, говорит, о боге очень слабо понимаю и верую только в то, что мне нужно».

«А что вам нужно?»

«То, что есть бог, что воля его в том, чтобы мы делали добро и не думали, что здесь наша настоящая жизнь, а готовились к вечности. И вот, пока я об этом одном помню, то я тогда знаю, чего во всякую минуту бог от меня требует и что я должна сделать; а когда я начну припоминать: как кому положено верить? где бог и какой он? – тогда у меня все путается, и позвольте мне не продолжать этого раз-

говора: мы с вами не сойдемся».

Он говорит:

«Да, мы не сойдемся, и я вам скажу – счастье ваше, что вы живете в наше слабое время, а то вам бы пришлось покоптиться в костре».

А она отвечает:

«И вы бы меня, может быть, проводили?»

И сама улыбнулась, и он улыбнулся и ласково ей говорит:

«Послушайте, дитя мое! вашу мать так сокрушает, что вы не устроены, а долг детей свою мать жалеть».

Ее всю будто вдруг погнуло, и на глазах слезы выступили.

«Умилосердитесь, – говорит, – неужто вы думаете, что я, проживши двадцать лет с моею матерью, понимаю ее и жалею меньше, чем вы, приехавши к нам сейчас по ее приглашению!»

А он говорит:

«Ну, и хорошо, и если вы такая добрая дочь, так изберите же себе достойного жениха».

«Я его уже избрала».

«Но этот выбор не одобряет ваша мать».

«Мама его не хочет узнать».

«Да что ж ей его и узнавать, когда он иноверец!»

«Он христианин!»

«Полноте! отчего вам не уступить матери и не выбрать себе мужа из своих людей, обстоятельных и известных ей и вашему дяде?»

«Чем же не обстоятелен тот, кого я выбрала?»

«Иноверец».

«Он христианин, он любит всех людей и не различает их породы и веры».

«А вот и прекрасно: если ему все равно, то пусть и примет нашу веру».

«Для чего же это?»

«Чтобы еще теснее соединиться во всем с вами».

«Мы и так соединены тесно».

«Но отчего же не сделать еще теснее?»

«Оттого, что теснее того, чем мы соединены, нас ничто больше соединить не может».

Он посмотрел на нее внимательно и говорит:

«А если вы ошибаетесь?»

А она вдруг порывисто отвечает:

«Извините, я совершеннолетняя, и я себя чувствую и понимаю; я знаю, что я была до известной поры и чем я стала теперь, когда во мне зародилась новая жизнь, и я не променяю моего теперешнего состояния на прежнее. Я люблю и почитаю мою мать, но... вы, верно, знаете, что „тот, кто *внас,* тот больше всех“, и я принадлежу ему, и не отдам этого никому, ни даже матери».

Сказала это и даже задохнулась и покраснела.

«Извините, – добавила, – я вам, кажется, ответила резко, но зато я больше уже ничего не могу дополнить», – и двинула стул, чтобы встать.

И он тоже двинулся и ответил:

«Нет, отчего же, если вы уж так соединены... чувствуете новую жизнь...»

А она встала и строго на него посмотрела и говорит:

«Да, мы так соединены, что нас нельзя разъединить. Кажется, больше говорить не о чем!»

Он от нее даже откачнулся и тихо сказал:

«Мне кажется, вы на себя... наговариваете!»

А она ему преспокойно:

«Нет! все, что я говорю, все то и есть!»

А Маргарита Михайловна в это же самое мгновение – «ах!» – да и с ног долой в обморок, а я, как самая глупая овца, забыла, что стою на конце гладильной доски, и спрыгнула, чтоб помочь Маргарите, а гладильная доска перетянулась да Ефросинью Михайловну сронила и меня другим концом пониже поясницы, и все трое ниспроверглись и лежим. Грохот этакой на весь дом сделался. И он это услыхал, и встал, и весь в волнении сказал Клавдиньке:

«Какие ужасные волнения!.. И все это через вас!..»

Она ему ни словечка.

Тогда он вздохнул и говорит:

«Ну, я не могу терять больше времени и ухожу».

А Клавдинька ему тихо в ответ:

«Прощайте».

«Прощайте – и ничего более? Прощаясь со мною, вы не имеете сказать мне от души ни

одного слова?»

И она, – вообрази, – вдруг сдобрилась и подала ему обе руки, – и он рад, и взял ее за руки, и говорит ей:

«Говорите! говорите!»

А она с ласкою ему отвечает:

«Пренебрегите нами, у нас всего есть больше, чем нужно; спешите скорее к людям бедственным».

Даже из себя его вывела, и он, как будто задыхаясь, ей ответил:

«Благодарю вас-с, благодарю!» – и попросил, чтобы она и провожать его не смела.

XII

А когда он из дому на вид показался, Клавдинька вернулась и прямо пришла в темную, где мы лежали повержены, двери распахнула и кинулась к матери, а что мы с Ефросиньей никак подняться не можем – это ей хоть бы что! Ефросинье Михайловне девятое ребро за ребро заскочило, а мне как будто самый сидельный хвостик переломился, а кроме того, и досадно и смех разрывает.

«Хорошо, – думаю, – девушка! объяснилась... и уж сама не скрывает...»

Так в этаком-то неслыханном постыдном беспорядке все и кончилось. Мы и не видали, как он сел и вся ажидация рассеялась, и опять обман был, опять он в чужую карету сел и не заметил – стал письма доставать. Так его и увезли, а наши служащие в доме все ужасно были обижены, потому что все это вышло не так, как ждали, и потом все, оказалось, слышали, как Клавдия сама, хозяйская дочь и наследница, при всех просила: «пренебрегите нами»... Чего еще надо! Он и вправду, я думаю, этого никогда еще ни от кого не слыхи-

вал. Все его только просят и молят со слезами, чтобы он осчастливил, чтобы пожаловал, а она как будто гонит: «Нами пренебрегите и ступайте к бедственным». Молва поднялась самая всенародная. Кучер Мирон, как всегдашний грубиян, да еще две пунцовки выпивши, вывел на двор своих фетюков, чтобы их петой водой попрыскать, а фетюки его сытые – храпят, кидаются и грызутся, а Мирон старается их словами унять, а в конюшню назад ни за что вести не хочет.

«Я, – говорит, – слава те, господи! Я формально знаю, как и что велит закон и религия: всегда перво-наперво хозяев прыскают, а потом на тот же манер и скотов».

Насилу у него лошадей отняли и спать его уложили, как вдруг Николай Иваныч приезжает, и в самом выдающемся градусе.

– Скверный мужчина! – отозвалась Аичка.

– Преподлец! – поддержала Марья Мартыновна и продолжала: – С этим опять до тех пор беспокоились, что без всех сил сделались, и как пали в сумерки, где кто достиг по диванам, так там и уснули. Но мне и во сне все это снилося, как Клавдинька отличилась с своим

бесстыдством... Николай Иваныч на весь дом храпит, и Ефросинья тоже ничком дышит, а мне даже не спится, будто как что меня поднимает, – и недаром. Прислушиваюсь и слышу, что Маргарита Михайловна тоже не спит... ходит...

И так это она меня, моя Маргарита, заинтересовала, что я лежу и присапливаю, будто сплю, а о сне и не думаю, а все на нее одним глазком гляжу и слушаю, куда она пойдет.

А она неслышной стопою тихонечко по всем комнатам, у жердиньерки остановилась, с цветков будто сухие листики обирает в руку, потом канарейке сахарок в клетке поправила, лоскуточек какой-то маленький с полу подняла, а сама, вижу, все слушает, все ли мы спим крепко, и потом воровски, потихонечку – топ-топ и вышла.

Я сейчас же вскочила на диван и уши навострила... Слышу, она кружным путем через зал к Клавдинькиной комнате пошлепала.

Так во мне сердце и заколотилось... Что у них будет?

Горошком я с дивана спрыгнула, туфли сбросила да под мышку их и в одних чулках

через другой круг обежала и в гардеробную, – оттуда тоже в Клавдинькину комнату над дверью воловье око есть. Опять там тихонечко все взмостила, поставила на стол стул и стала на него и гляжу.

В комнате полтемно. Лампа горит, но колпак так сноровлен, что только в одно место свет отбивает, где она руками лепит… Все это она сама себе всегда и зажигает, и гасит, и на канфорке воду греет – все без прислуги.

И теперь так – весь дом в покое отдыхает, а она, завистная работница, как ни в чем не бывало, опять уже все свои принадлежности расправила.

Мнет, да приставляет, да черт знает чту вылепливает, и я даже на фигуру ее посмотрела, что она сама на себя высказала, но нет еще, ничего не заметно, – вся высокая и стройная.

Мать вошла, а она не видит, а у меня сердце ток-ток-ток! – так и толчется… Что будет? – прибьет ее старуха, что ли, и как та – с покорностью ли это выдержит, или, помилуй бог, забудется, да и сама на мать руку поднимет? Тогда я тут и нужна окажусь, потому что по

крайней мере я вскочу да схвачу ее за руки и подержу – пусть мать ее хорошенько поучит.

XIII

Все дыхание я в себе затаила.

Маргарита Михайловна постояла в полутемноте и ближе к ней подходит...

Тогда госпожа Клавдинька вздрогнула и глину свою уронила.

«Мамочка! – говорит, – вы не спите! как вы меня испугали!»

Маргарита удерживает себя и отвечает:

«Отчего же это тебе мать страшна сделалась?»

«Зачем вы, мама, так говорите: вы мне вовсе не страшны! Я вам рада, но я занялась и ничего не слыхала... Садитесь у меня, милая мама!»

А та вдруг обеими руками, ладонями, ее голову обхватила и всхлипнула:

«Ах, Клавдичка моя! дитя ты мое, дочка моя, сокровище!»

«Что вы, что вы, мама!.. Успокойтесь».

А старуха ее голову крепко зацеловала, зацеловала и вдруг сама ей в ноги сползла на колени и завопила:

«Прости меня, ангел мой, прости, моя крот-

кая! я тебя обидела!»

Вот, думаю, так оборот! Она же к ней пришла и не строгостью ее пристрастить, а еще сама же у нее прощения просит.

Клавдинька ее сейчас подняла, в кресло посадила, а сама перед нею на колени стала и руки целует.

«Я, – говорит, – милая мама, ничего и не помню, что вы мне, осердясь, сказали. Вы меня всегда любили, я весь век мой была у вас счастливая, вы мне учиться позволили...»

«Да, да, друг мой, дура я была, я тебе учиться позволила, и вот что из этого ученья вышло-то!»

«Ничего, мамочка, дурного не вышло».

«Как же „ничего“?.. Что теперь о нас люди скажут?»

«Что, мама?.. Впрочем, пусть что хотят говорят... Люди, мама, ведь редко умное говорят, а гораздо чаще глупое».

«То-то „все глупое“. Нет, уж если это случилось, то я согласна, чтобы скорее твой грех скрыть: выходи за него замуж, я согласна».

Клавдия изумилась.

«Мама! милая! вы ли это говорите?..»

«Разумеется, я говорю; мне твое счастье дорого, только не уходи от меня из дома, – тоска мне без тебя будет».

«Да никогда мы не уйдем от вас...»

«Не уйдешь? Он тебя от меня не уведет?»

«Да ни за что, мама!»

Старуха так и заклохотала:

«Вот, вот! вот, – говорит, – опять ты всегда такая добрая... А он добрый ли?»

«Он гораздо меня добрее, мама!»

«Почему же так?»

«Он смерти не боится».

«Ну... для чего же так... Пусть живет».

«Вам жаль его?»

А та заморгала и сквозь слезы говорит:

«Да!»

И опять обнялись, и обе заплакали.

Веришь, что даже мне, и то стало трогательно!

Аичка поддержала:

– Да и очень просто – растрогают!

– А Клавдинька-то и пошла тут матери не спеша и спокойно рассказывать: какой у него брат был добрейшей души, и этот тоже – ко всем идет, ни с кем не ссорится, ничего для

себя не ищет и всем все прощает, и никого не боится, и ничего ему и не надобно.

«Кроме тебя?»

А она законфузилась и отвечает:

«Мама!.. я его так уважаю... он меня научил жить... научил чувствовать все, что людям больно... научил любить людей и их отца... и... и вот я... вот я... счастлива навеки!»

«Ну, и пусть уж так... пусть. А только все-таки... зачем... ты так себя допустила?»

«До чего, мама?»

«Да уж не будем лучше говорить. Пусть только будет ваша свадьба скорей – я тогда опять успокоюсь... Я ведь тебе все простить готова... Это меня с тобою только... люди расстраивают, сестра... да эта мать-переносица Мартыииха».

«Бог с ней, мама: не сердитесь на нее – она несчастная».

«Нет, она мерзкая выдумщица... по всем домам бегает и новости затевает... я ее выгоню...»

«Что вы, что вы, мама! Как можно кого-нибудь выгонять! Она бесприютная. Вы лучше дайте ей дело какое-нибудь, чтобы она заня-

тие имела, и не слушайте, что она о ком-нибудь пересуживает. Она ведь не понимает, какое она зло делает».

«Нет, понимает; они приступили ко мне с сестрой, что ты странная, и так мне надоели, что и мне ты стала казаться странною. Что же делать, если я такая слабая… Я поверила и послала ее приглашать, и от этой общей ажидации сама еще хуже расстроилась».

«Все пройдет, мама».

«Ах, нет, мой друг… уж это, что с тобою сделалось, так это… не пройдет».

Клавдинька на нее недоуменно смотрит.

«Я вас, – говорит, – не понимаю».

«Да я и не стану говорить, если тебе это неприятно, но я и о том думаю: как же это он провидец, а его обманом в чужую карету – обмануть можно?»

«Ах, не станем, мама, спорить об этом!»

«Я ему хотела пятьсот рублей послать, а теперь пошлю завтра за неприятность тысячу».

«Посылайте больше, мама, – мне жаль его».

«Чего же его-то жаль?»

«Как же, мама… какое значение на себя

взять: какая роль!.. Люди видят его и теряют смысл... бегут и давят друг друга, как звери, и просят: *денег... денег!!* Не ужасно ли это?»

«Ну, это мне все равно... только нехорошо, что теперь сплетни пойдут; а я не люблю, кто о тебе дурно говорит. И зато вот я деверя Николая Иваныча, какой он ни есть, и кутила и бабеляр, а я его уважаю, потому что он сам с тобою в глаза спорится, а за глаза о тебе никому ничего позволить не хочет. „Сейчас, говорит, прибью за нее!“»

«Дядя добряк, мне жаль его, – он во тьме!» «И для чего это всё необыкновенное затеяли! У нас все было весь век по обыкновенному: свой, бывало, придет и попоет, и закусит, и в карты поиграет, и на все скажет: „господь простит“».

«Простое, мама, во всех случаях всегда самое лучшее».

«Да, он тебя и крестил, он пусть и перевенчает. А Мартыниха пусть к нам и не приходит, чтобы никаких выдающихся затей от нее больше не было».

Вот что было-выходило мне за мои хлопоты, но дело решилось иначе, и совсем неожи-

данно.

– Кто же его решил? – спросила Аичка.

– Кошка, да я немножко, – продолжала Марья Мартыновна.

Но Клавдикька, к чести ее приписать, и в конце опять за меня заступилась, стала просить, чтобы меня какою-нибудь выдающеюся прислугою в доме оставили.

Старуха ей отвечает:

«Изволь, и хотя мне это неприятно, но для тебя я ее оставлю».

Но во мне уж сердце закипело.

«Нет уж, – думаю я, – голубушки, я и без вас проживу: я птичка-невеличка, но горда, как самый горделивый зверь, и у меня кроме вас по городу много знакомства есть, – я в услужение лакейкой никуда не пойду...» И честное тебе слово даю, что я в ту же минуту хотела потихоньку от них, не прощаясь, со двора сойти, потому что я, ей-богу, как зверь, горда; но вообрази же ты себе, что это не вышло. Ко всему этому случаю подпал еще другой, который и задержал. Пока х стояла на стуле и, на столе взгромоздившись, слушала их советы, жирный кот разыгрался, подхватил мои вой-

лочные туфли, которые я на полу оставила, и начал, мерзавец, швырять их лапой по всему полу.

От этакого пустяка – а меня просто ужас обхватил: заденет, думаю, мерзавец, туфлею за какое-нибудь легкое стуло или табуретку и загремит, и они тогда сейчас сюда взойдут, и какова я им покажусь на своей каланче? куда мне тогда и глаза девать и что выдумать и сказать: зачем я это в здешнем месте, вскочивши на стол, случилась?

Снялась я с великим страхом, чтоб не упасть, и стала кругом на полу ползать – туфли свои искать. Ползла, ползла, весь пол выползла, а туфлей не нашла. А между тем страх боюсь, что теперь мать с дочерью совсем поладили и сейчас выйдут и увидят, что меня нет на том диване, где я спала. И как тогда мне при них да через Николая Иваныча комнаты идти? Что подумать могут? Бросилась я без туфлей бежать и вернулась на свое место благополучно. Николаи Иваныч без воротничков спит, и не храпит, и не ворочается; а я в одних чулках легла на диван и только что притворилась, что будто сплю, как Марга-

рита с дочерью и взаправду входят.

XIV

Маргарита Михайловна спокойным голосом с прохладою велит, чтобы все лампы зажечь и чай подавать, и стала всех будить к чаю, а как ко мне подошла, я говорю: «я сейчас сама встану», и начинаю туфли искать.

А она, как на грех, спрашивает:

«Что ты ищешь?»

«Туфли ищу».

«Где же ты их приставила?»

«На мне они были, на ногах».

«Куда же они с ног могли деться?»

«И сама не знаю».

«Женях, что ли, приходил тебя разувать, – гак ведь это только на святках бывает».

«Нет, – я говорю, – женихи ко мне не ходят, а это, быть может, надсмешка».

«Ну, вот еще! Кто будет надсмехаться? Ищите, пожалуйста, все Мартыновнины туфли!»

И что это ей за неотступная забота припала искать – уж и не понимаю. А в это самое время, как на грех, вдруг Николай Иваныч выбегает в трех волнениях из своих комнат и,

должно быть, еще не проспавшись или в испуге, кричит:

«У-е-ля хам? У-е-ля хам?»

Золовки ему отвечают:

«Что ты, батюшка! что ты!.. Какой Хам?»

А он даже трясется от злости и отвечает:

«Хам – значит женщина!»

Маргарита Михайловна его перекрестила и говорит:

«Какая женщина?»

«Которая мне гадость сделала».

«Что сделала? какую гадость? Небось сказать нельзя?»

А он, как козел, головой замотал и в самом повелительном наклонении:

«Я, – говорит, – всем такой постанов вопроса даю: какая это фибза меня разбудила и на постели у меня вот эту свою туфлю оставила?»

И показывает в руке мою туфель...

Ну, разумеется, всем смешно стало.

А я отвечаю:

«Это туфля моя, но надо знать, как она туда попала».

А он и не слушает.

«Это всякому, – говорит, – известно, как попадает».

А тут мальчишка Егорка, истопник, весь бледный, бежит и кричит:

«У нас в ванной кто-то чем-то с печки швыряется».

Пошли туда, а там в ванной в воде другая моя туфля плавает, а на печке на краю проклятый кот сидит.

«Господи! – воскликнула я, – что же это! если все меня выживают, то мне лучше самой уйти».

А Николай Иваныч поспешает:

«И сделай свою милость, уйди! У нас без тебя согласней будет», – и с тем повернул меня лицом к зеркалу и говорит:

«Ведь ты только посмотрись на себя и сделай постанов вопроса: пристойно ли тебе своими туфлями заигрывать!»

То есть, черт его знает, что он такое в своей пьяной беспамятности понимал, а те дуры такое ко мне приложение приложили, что будто я и у него в комнате и в ванной везде его преследую.

– А может быть, и в самом деле? – протяну-

ла Аичка.

– Полно, пожалуйста! Будто же я этак могла сделать, что вдруг одна моя нога в комнате, а другая в ванной!.. Ведь это же и немыслимо так растерзать себя! Но представь себе, что ведь старая дура обиделась и начала шептать:

«Я, – говорит, – никого не осуждаю, но для чего же это... непременно в моем доме... и после посещения...»

Я и не вытерпела и с своей стороны фехтовальное жало ей в грудь вонзила.

«Полно, – говорю, – пожалуйста, что такое ваш дом, да еще после посещения!.. Проводили этакого посетителя так, что чуть его не выгнали», – и рассказала, как Клавдия его просила их домом пренебречь, а спешить к людям бедственным.

А Николаю Ивановичу это и за любо стало.

«Так, – говорит, – и следовало: чего он взаправду все здесь? Ему надо к неурожайным полям ехать и большой урожай вымолить, для умножения хлебов. С нашей сытостью ему взаправду и возиться бы стыдно».

Я отвечаю:

«Что же вы всё мне говорите про стыдное! Не я делаю что-то стыдное в вашем доме... а поищите стыдного при себе ближе...»

А Николай Иваныч, как всегда, любит срывать свое зло на ком попало, и вдруг кинулся на меня, как ястреб на цыпленка, и начал душить меня...

– Ах, боже мой! – пожалела Аичка.

– Да, да, да, – продолжала Марья Мартыновна. – Золовки у него меня даже отнять не могли. Задушил бы, но Клавдия вошла и сказала: «Дядя, прочь!» Совершенно как на пуделя крикнула. Он и оставил. Тогда Маргарита выносит из спальни пятьсот рублей и говорит мне:

«Вот тут, Марья Мартыновна, пятьсот рублей от меня вам награждения, и как вам угодно – хоть эти деньги за свою обиду примите, хоть на Николая Иваныча жалуйтесь, но я, бог с вами, на вас не сержусь, и, если хотите проститься с нами по-хорошему, я вам еще дам, но уходите».

«Я, – говорю, – жаловаться не пойду, потому что я православная».

А Николай Иваныч зарычал:

«Не потому, а ты знаешь, что, пожаловавшись, ты меньше получишь».

«Можете, – говорю, – располагать как хотите, а я не желаю, чтобы на суде произносили священный тип личности наравне с госпожи Клавдии девичьими секретами».

Но тут он опять как сорвется... а Клавдия его схватила и вывела, и сама вышла, а Маргарита подает мне еще триста рублей и говорит:

«Друг сердечный, на, возьми это скорей себе и уходи. Хорошего ждать теперь нечего».

«Я, – говорю, – и не жду».

– А деньги взяли? – спросила Аичка.

– Неужли же им их оставила?

– То-то! А то Клавдинька их своим «бедственным» сволокла бы!

– Разумеется!

Помолчали.

– Так-то вы и называете, что простились «по-хорошему»? – спросила Аичка.

– Да, уложила свои вещи, всё забрала, а им сказала, ошибкою, вместо «покойной ночи» – «упокой вас господи», да и уехала.

– И не жалеете, что так вышло?

– И не жалею, да и жалеть-то грех: они сами себя на все осудили. Каков от них был прием святой ажидации, таково же и им от бога наклонение. Был дом выдающийся в великолепии, а теперь одна катастрофия за – другою следует, и жительство их спускается до самого обыкновенного положения. И все через Клавдии Родионовны рояльное воспитание; и никто этого не останавливает – так всех она в свои прелюзии и привлекает.

– Неужли все стали лепить принадлежности? – спросила Аичка.

– Нет, это она одна лепит, и ей теперь даже заказы бюстров заказывают, а она своих семьян привела гораздо в худшие последствия.

– Что же такое, например, с ними сделалось?

– А, например, вот что сделалось: начать с того, что Николай Иваныч, возвратившись раз из своего маскатерства, забыл, про что он позабыл.

– Ну!

– А это оказалось впоследствии, что он позабыл у себя в кармане депеш о том, что к нему завтрашний день сын его Петруша из

кругосвета возвращается. Он и возвратился и приехал утром на извозчике, когда его никто не ждал, и отец тогда только вспомнил про депеш и принял сына как нельзя хуже и даже совсем не желал было его видеть.

«Мне, – говорит, – никакой заатлантический дурак не нужен».

Но Клавдия этого Петрушу обласкала, а дяде только левою рукою одним пальцем погрозила, а потом и начала Петинькой руководствовать и привела его к тому, что он вдруг, сам бесприютный, да стал еще просить у отца позволения жениться на той самой Крутильдиной племяннице, за которую его отец выслал. Отец об этом, разумеется, и слышать не хотел, да и немыслимо было это допустить, потому что у той в это время еще один проступок был, – и вот чего мы все об этом не знали, а Клавдия Родионовна знала, потому что она, как оказалось, за этою особой следила и отыскала ее в напасти и содерживала у той старушки, куда я ее проследовала, и там ее от всех бед укрывала и навещала, и навела-таки своего двоюродного брата на то, что «вот ты пред ней виноват, потому что через

то, что ты ее покинул, она еще раз пала, и ты должен это загладить, и ее взять, и никогда ни в чем ее не укорять, потому что ты сам всем ее бедам виновник». И все опять ему из Евангелия, и что он будто ни на ком другой, кроме этой, жениться не смеет, и тем кончила, что сбила его на свое – Петька согласился. И тогда она явилась просить за них дядю и стала ему доказывать, что та очень хорошего сердца, а проступок ее был именно чрез то, что она была брошена.

Старик говорит:

«Стало быть, постанов вопроса такой, что это, по-твоему, хорошо?»

«Не хорошо, – отвечает Клавдия, – но это такое, что вы должны простить, потому что все это произошло через вас; оттого, что кто беспомощную бросает – тот и виноват за нее».

«Где же это писано?» А она сейчас было за Евангелие, но он ее за руку:

«Оставь», – говорит.

«Нет, не оставлю, и если вы будете жестоки и потребуете, чтобы еще раз так же ее оставить, то с нею может быть худшее».

«Что же, – спрашивает, – худшее?»

Она говорит:

«Вы это лучше знаете, что ожидает тех, кого вы сбиваете с честного пути, а потом бросаете. Но вы знайте, что ваш сын теперь не в ваших руках».

«А в чьих же?»

«В тех руках, с кем вы не смеете спорить: Петя послушает не вас, а того, кто не дозволил пускать соблазн в мир».

«Так ты его бунтуешь?»

«Я не бунтую, – говорит Клавдия, – а я говорю, что друг друга бросать нельзя! От этого – страданье и грех. После этого Петруше нельзя будет жить с чистой совестью, и я его убедила и еще буду убеждать, чтобы он почитал волю небесного отца выше воли отца земного. А вы если не хотите слушать, что я вам говорю о вечной жизни, то вы умрете вечной смертью».

И заговорила, заговорила, и так его пристрастила и умаяла, что он, как рыба на удочке, рот раскрыл и отвечать не умеет.

А тут и Петруша стал за ней то же самое повторять, что его совесть три года во всех местах мучила и теперь покою не дает и что

он эту преступной девушки вину на своей совести почитает и желает ее и свою жизнь исправить.

Тут Николай Иваныч стал губы кусать и вдруг говорит:

«А это ведь точно, пожалуй, можно и умереть, мы действительно все грешные: зришь на молодую мамзель и сейчас свое исполняешь, как бы ее так обратить, чтобы она завтра была уже не мамзель, а гут морген. Это – подлость всей нашей увертюры; а Клавдя прямо идет!» – и благословил сыну подзакониться и вдруг даже мальчика их, своего внучка, очень любить стал и без стеснения всем рекомендовать начал: «Вот это сын мой – европей, а это мой внук подъевропник». Но Крутильда свою гордость выдержала и этого не перенесла, взяла и за своего Альконса замуж вышла, а на Николая Иваныча векселя подала, чтобы его в тюремное содержание.

– Вот эта хороший типун сделала, – отозвалась, засмеясь, Аичка.

– Да. Но Клавдинька дядю в тюрьму не допустила, – у матери уйму денег выпросила: «Это, сказала, будет мне за приданое», и та за

него заплатила, и дом продали, а сами стали жить круглый год на фабрике. Так и теперь все круглый год живут в этой щели, и Клавдиньке это очень нравится.

– И красота ее, стало быть, так там и вянет? – спросила Аичка.

– Разумеется, так у дуры все и завянет, но, однако, до сих пор еще очень хороша, злодейка.

– А как же ее Ферштет?

– Ах, с ним оборот так еще всего чище!

– Вышла она за него или не вышла?

– Ничего не вышла!..

– Спятился?..

– Нет, он не спятился, а они оба себя один в другом превзошли, и потом она его на тот свет и отправила.

– Каким же это манером?

– Да никаким!

– Что же, однако, было?

– Да ничего не было. «Мы, говорит, нашли, что нам не нужно на себя никаких обязательств и иметь семью тоже не надобно». Решили остаться друзьями по своей вере, и довольно с них.

– Что за уроды!

– Оглашенные!

– А как же она его уморила?

– Ничего никто не знал. Вдруг она приходит домой бледная и ничего не рассказывает, а потом оказалось, что он умер.

– Вот и раз!

– Да. Дитя какое-то бедное такую заразность в горле получило, что никто его в доме лечить не хотел, а он по примеру брата пошел и для других все о болезни списал, а сам заразился и умер.

– Очень она убивалась?

– Не знаю, как сказать, – точно каменная. Мать говорила: «Что же, все твой грех знают: если ты бога не стыдилась, так уж людей и стыдиться не стоит, – иди простись с ним, поцелуй его во гробе. Тебе легче будет». А она тут только зарыдала и на плечи матери вскинулась и говорит: «Мамочка! Я с ним уже простилась...»

– Призналась?

– Да; «когда, говорит, он уходил туда, я его живого поцеловала; прости мне это».

– Значит, всего-навсего и было, что раз

один поцеловала?

– Так она сказала.

– Ну, а это-то… про что она раньше-то еще сознавалась?

– Что такое?

– Ну вот, что вы рассказывали…

– Ах, это про родительный в неопределенном наклонении?

– Да.

– А это так и осталось в неопределенном наклонении.

– Как же это так вышло?

– Так, совсем ничего не вышло.

– Значит, вы тогда на нее всё наврали?

– И вовсе не то значит, а значит только то, что я ожидала правильно, чего следует по сложению всех вероятностей, а у них все верченое, и «новую жизнь» она в себе, оказывается, нашла по божеству, как будто Христос их соединяет в одних вечных мыслях. Подумай только, как сметь этакое выдумать и такую святость себе приписывать!

Аичка не скоро процедила в ответ:

– Нет, это пустяки, – а откудова только у них берется терпение, чтобы этак жить!

– Ужасть! ужасть!.. Ничем, ничем их из себя не выведешь... Какое хочешь огорчение и обиду – они всё снесут, как будто горе земное до них совершенно и не касающее!..

– Донимать их, я думаю, как следует не умеют.

– Это может быть.

– Нет, наверно!

– А ты что бы им хотела?

– На сковородку бы их босыми ножками да пожаривать.

– Вот, вот, вот! Ну, так, говорят, будто это жестокости.

Аичка ничем не отозвалась. Или она засыпала, или, может быть, стала думать о чем-то «в сторону».

XV

Марья Мартыновна встала, куда-то прошлась и опять села на место.

В это время Аичка вздохнула и, по-видимому как будто ни к тому ни к сему, промолвила:

– Словесницы бесплодные!

Марья Мартыновна поняла, к чему это, и подхватила:

– Да, уж именно! Другая какая-нибудь... этакая простой души – живет, и втихомолочку чего только она ни делает, и потихоньку во всем на духу покается, и никто ничего не знает, а эти – что ступят, то стукнут, а потом вдруг лишатся всякого счастья и впоследствии коротают век не для себя, а сами остаются в неопределенном наклонении... Нет, ты мне этот постанов вопроса реши: что с ними делать, чтобы их вывести?

Но Аичка снова молчала, и Марья Мартыновна опять сама заговорила:

– Ну, пускай так, как ты говоришь, что не знают, что с ними делать, я с этим с тобою согласна; но отчего же они такие особенные,

что ни слез у них нет, ни моленья и жалобы, а принимают всё, что над ними учинится, как будто это так и надобно?

– Притворяются.

– И я то же думаю! Где же, скажи на милость, только что вышла такая катастрофа, жених умер, а она в тот же день, как его схоронили, села работать и завела еще школу, чтобы даром бедных детей учить. Но только одно хорошо, что хоть ты и говоришь, что с ними не знают, что делать, но и им тоже повадки заводить чту хотят не дают: ей школу скоро прикончили. И заметь, она и тут тоже опять ничего не томилась и не жаловалась.

– Они закоренелые.

– То-то и есть! Что же с ними поделаешь, когда они такие беспечальные? Ей школу прикрыли, а она теперь всем людям чем только может услуживает, и книжки детям раздает, и сама с ними садится где попало читать.

– И этого не надо позволять.

– И было непозволение, становой и из-за книжек приезжал, чтобы всем ее книжкам повальный обыск сделать, но посмотрел книжечки и все ей оставил, да еще начал и изви-

няться.

«Я, – говорит, – приказание исполнил, а мне самому совестно».

– Вон тебе как!

– Да еще что! Как она ему ответила, что не обижается, и руку свою подала, так он у нее и руку поцеловал и говорит:

«Простите меня, вы праведница».

– А замуж она, стало быть, так уж и не пойдет?

– Мать ее спрашивала: не дала ли она обет, чтобы после смерти первого жениха ни за какого другого не выходить? Она отвечала, что «обета не давала». По-ихнему ведь тоже и обет давать будто не следует. Старуха добивалась, что, может быть, она в разговорах покойнику обещалась ни за кого не выходить? И этого, говорит, нет.

«Ну так, может быть, еще обрадуешь меня, выйдешь замуж?»

И на это тот же ответ:

«Не знаю, мама, но только не думаю».

«Отчего же?»

«Со мной, мама, жить очень трудно».

Сама так и созналась, что с нею жить – ад.

А потом в день именин матери такой дар поднесла, что говорит:

«Мамочка! я ваша! я сегодня, в ваш день, решилась и подарила себя служить вам и бедным людям. Я замуж не пойду».

Так и остается и так и живет теперь вековушею. Вместо того, чтобы народить своих детей да их в ласке нежить и им свой остаток капитала передать, она собрала опять беспортошную детвору, да одевает их, да поет им про лягушку на дорожке.

XVI

Собеседницы умолкли, – Марья Мартыновна, вероятно, наслаждалась удовольствием, что довела до конца сказание, в котором ее главный враг, Клавдинька, была опозорена; а Аичка не отзывалась – может быть, потому, что опять куда-то перенеслась и о чем-то думала.

Это и подтвердилось.

После довольно продолжительной паузы она вздохнула и сказала:

– Как мне это все-таки, однако, удивительно!

– Что такое?

– Представьте, что я у себя точно такого же дурака знаю.

– Мужчину?

– Да, и очень интересный, а вот и в нем сидит точно такая же глупость.

– Что же, как он в своем поле уродует?

– То же самое, как и эта: ничего ему не нужно – ни вкусно есть, ни носить красивое платье, и ничто на свете.

– И любовь женская не нужна?

– Представьте – тоже не нужна!

– Этого никогда быть не может! Это при каком хочешь положении из моды не выходит!

– Нет, то-то и есть, что выходит!

– Ни за что не поверю!

– Да как же вы не верите, когда я вас уверяю!

– А я, моя дорогая, не верю. Мужчину женской фигурой всегда соблазнить можно.

– А я вам, моя дешевая, говорю, что и не соблазните.

Марья Мартыновна как будто поперхнулась, но оправилась и договорила:

– Разумеется, мое время прошло.

– Хоть бы ваше и время не прошло и хоть бы в вас иголки не было, а ничего не убедите…

– Отчего же это?

– Оттого, что у них все нечеловеческое – они красоту совсем не обожают, а ищут всё себе чего-то по мысли, и потому если из них кого полюбить, то с ними выйдет только одно неудовольствие.

– А он тебе очень нравится?

– Почему вы знаете?

– Неужли же не видно! Ты тем все и портишь, что свои чувства ему оказала.

– Ничего я не порчу, а я ему просто противна.

– Как нищему гривна?

– Нет, совсем противна.

– Как же этакая молодая, богатая – и противна? Что же это за дурак выдающийся!

– Не дурак, а вот в этом же самом роде, как ваша Клавдинька: все тоже смотрит в Евангелие и все чтоб ему жить просто да чтоб работать и о гольтепе думать, и в этом все его пустое удовольствие.

– И будто уж нельзя его всем твоим капиталом привлечь?

– Ах, да на что ему капитал, когда ему больше того, что есть, ничего не надобно! Ему вкусный кусок положите, а он отвечает: «Не надо, я уже насытился»; за здоровье попросите выпить, а он отвечает: «Зачем же пить? – я не жажду»!

– Ну, что это взаправду за уродство!

– Да, я так жить ни за что не хочу.

– Разумеется; пусть он себе берет такую и жену, к их фасону подходящую.

Но Раичка, услыхав это, вскрикнула:

– Что-о-о! – И сейчас же резко добавила, что она этого никогда не позволит.

– Лучше на столе под полотном его увижу, чем с другою!

– Что же, и это можно, – успокоила ее мирным тоном Мартыниха.

Раичка понизила голос:

– То есть что же… разве вы это можете?

– Под полотно положить?

– Да… но ведь за это отвечать можно.

– Стоит только ему рубашку выстирать да на ночь дать одеть… вот и все.

– Ишь какая вы вредная!

– Да ведь я это для тебя же! – сконфуженно остановила ее Мартыниха.

– Нет, а как вы смели для меня это подумать! Рубашку вымыть!

– Ну, оставь, пожалуйста: видишь, чай, что я пошутила!

– Пошутила!.. Нет, вы думали, что уж влюбленную дуру нашли, и я вам дам такое поручение, что в ваших руках буду! Я не дура!

– Да кто ж тебе говорит, моя дорогая, что ты дура!

– То-то и есть, моя дешевая!

– Фу ты господи!

– Да, да, да.

– Так как же ты жить хочешь?

– Чтобы он был мой муж и жил, как я хочу, и больше ничего.

– Так ты бы ему лучше прямо так и изъяснила, что: «люблю и женись!»

– И вот, представьте же себе, что я уже до этой низости дошла, что и изъяснилась.

– И что же он – возвеличился?

– Нимало, а только пожал мне руку и говорит: «Раиса Игнатьевна, вы на этот счет ошибаетесь!» Меня даже в истерику и в слезы бросило, и я говорю: «Нет, я вас люблю и весь капитал вам отдам». А он…

Аичка вдруг всхлипнула и заплакала.

– Полно, полно, приятненькая, убиваться! – попросила ее Марья Мартыновна.

– Не гладьте меня, я не люблю! – скапризничала Аичка.

– Ну, хорошо, хорошо, я не буду. Что же он тебе сказал?

– Не верит, дурак.

Послышались опять слезы.

– Ну, значит, он или бесчувственный, или беспонятный, – решила Марья Мартыновна.

– Нет, он не бесчувственный и даже очень понятный; а он говорит: «Вы в ваших чувствах ошибаетесь – это вы мою презренную плоть любите и хотите со мною своих свиней попасти, а самого меня вы не любите и не можете меня полюбить, потому что мы с вами несогласных мыслей и на разных хозяев работаем; а я хочу работать своему хозяину, а свиней с вами пасти не желаю».

– Что же это такое?.. И к чему это?.. Каких свиней пасти и на каких разных хозяев работать? – протянула недоуменно Марья Мартыновна.

– А вот в том и дело, что если не понимаете, то и не спорьте! – дрожащим от гнева голосом откликнулась Аичка и через минуту еще сердитее добавила: – По-ихнему, любовью утешаться – это значит «свиней пасти».

– Тьфу!

Мартыновна громко плюнула и вскрикнула:

– Свиньи! Ей-богу, они сами свиньи!

– Да, – отвечала Аичка, – и он еще хуже го-

ворил… Он ответит…

– За что, приятная, за что? Что он еще… чем тебя оскорбил?

– Он меня ужасно оскорбил… он сказал, что я не христианка, что со мною христианину жить нельзя и нельзя детей в христианстве воспитывать…

– Ах, за это ответит!

– Да, я ему это и сказала: «Я говею и сообщаюсь, а вы никогда… Кто из нас – христианин?»

– Он ответит.

– А я своего характера не переломлю!

– И не ломай! Что их еще баловать!

– Я ему сказала, что я ожесточусь, и лучше кому захочу, тому все богатство и отдам, но только я по-своему отдам, а не по-ихнему.

– Вот я теперь тебя и поняла… зачем ты сюда приехала! Конечно, тебя тут на руках носить будут!

– Очень мне нужно их ношенье! Но только вы ничего и не поняли!

– Нет, ты теперь проговорилась.

– Ни капли я не проговорилась. Я просто буду пробовать: верно ли это, что здесь мож-

но умолить, чтоб в нем сердце затомилось и все стало – как я хочу.

Но Марья Мартыновна на этом Аичку перебила.

– Ангел мой! – воскликнула она живо, – здесь умолить можно все; здешнее место – все равно что гора Фавор, но только должно тебе знать, что бог ведь на зло молящему не помогает!

Аичра совсем рассердилась.

– Что вы за глупости говорите! – вскричала она, – какое же здесь «на зло молящее», когда я хочу его от бессемейного одиночества в закон брака привесть и потом так сделать, чтобы он любил непременно все то, что все люди любят.

– Да, то есть чтобы он не косоротился бы к простоте, а искал бы себе прямо не одно душеполезное, но и телополезное?

– Вот и только!

– Да, если только в этом, то это, конечно, благословенный закон супружества, и в таком случае бог тебе наверно поможет!

– Да, а вы, пожалуйста, теперь уж дальше замолчите, потому что скоро будет рассвет, и

я очень расстроилась и буду бледная.

Шехерезада умолкла. Соседки больше ничего не говорили и, может быть, уснули; последовав их благоразумному примеру, заснул перед утром немножко и я, но потом вскоре снова проснулся, оставил на столе деньги за свою «ажидацию» и уехал из Рима, не видав самого папы…

А поездка эта все-таки принесла мне пользу: мне стало веселее. Я как будто побогател впечатлениями, – и теперь, когда мне случается возвращаться ночью по купеческим улицам и видеть теплящиеся в их домах разноцветные лампады, я уже не воображаю себе там одних бесстыжих притворщиц или робких и безнадежных плакс «темного царства», а мне сдается, будто там уже дышит бодрый дух Клавдиньки, дающий ресурс к жизни во всяком положении, в котором высшей воле угодно усовершать в борьбе со тьмою все рожденное от света.

1890 г.

Примечания

1

Слово «Ажидация» здесь употребляется в двух смыслах: а) как название учреждения, где «ожидают», и б) как самое действие ожидания. В одном случае оно пишется с прописной буквы, а в другом – со строчной *(прим. Лескова)*.

[^^^]

2

Еще! *(франц.)*

[^^^]